

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Радий
Погодин

Я ДОГОНЮ ВАС
НА НЕБЕСАХ

« А З Б У К А »

18+

Русская литература. Большие книги

Радий Погодин

Я догоню вас на небесах

«Азбука»

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Погодин Р. П.

Я догоню вас на небесах / Р. П. Погодин — «Азбука»,
— (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-32740-5

Писатель Радий Погодин пережил в жизни многое – умирал в блокадном Ленинграде, воевал (награжден орденами – двумя Славы и двумя Красной Звезды), в боях дошел до Берлина (его блокадные и военные впечатления легли в основу автобиографического романа «Я догоню вас на небесах», одной из лучших книг в нашей литературе о войне и Ленинградской блокаде), после войны попал во «враги народа» и отмотал срок в лагере по печально известной статье УК... Вот такой был у него «богатый» жизненный опыт. В литературу Погодин пришел в 1950-х. Начинать с книг для детей: «Кирпичные острова», «Рассказы о веселых людях и хорошей погоде», «Трень-брень»... Позже, в 1970–1980-е, в его произведениях, даже в детских, все чаще и все отчетливее звучит тема войны, и для писателя с его биографией это очень понятно – прошлое возвращается, уже в книгах. Но что важно: несмотря на пережитое, книги Погодина наполнены теплым светом и добротой. А еще он умеет подбирать и расставлять слова так, что происходит чудо – то обыкновенное чудо, когда слова в книге начинают играть, светиться всеми красками жизни, отзываясь в сердце читателя. Кроме романа «Я догоню вас на небесах», одной из вершин в творчестве писателя, в настоящий том полностью вошел цикл полуреалистических-полуфантастических повестей и рассказов о Василии Егорове, художнике и солдате («Река»), и другие лучшие образцы погодинской прозы. В августе 2025 года отмечалось столетие со дня рождения мастера, и эта книга – наша дань памяти замечательному писателю, художнику, человеку.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-32740-5

© Погодин Р. П.

© Азбука

Содержание

Вне возраста и размера шляпы	8
Я догоню вас на небесах	17
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Радий Петрович Погодин

Я догоню вас на небесах

© Р. П. Погодин (наследник), 2026

© А. В. Егоев, статья, 2024

© Оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Радий Погодин

Я ДОГОНЮ ВАС
НА НЕБЕСАХ



Санкт-Петербург

Вне возраста и размера шляпы *О Радии Погодине и его книгах*

Прежде чем писать о писателе, начну-ка я, пожалуй, с презумпции. То есть с такого предположения, которое, как сказано в Википедии, «считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана».

Бывает презумпция невиновности, сейчас она меня не интересует. И бывает презумпция гениальности, о ней-то и пойдет речь.

Так вот, писатель Радий Погодин – светлый гений русской литературы. Это я говорю сознательно, поскольку уже долгое время читаю все подряд его книжки и уже наметил на будущее, в каком порядке буду их перечитывать. Это моя презумпция.

И пора привести цитату. Вот, пожалуйста, привожу. Про хулигана Витю из повести «Мальчик с гусями», который, когда он вырастет, мечтает стать... Космонавтом? А вот вам нетушки – великаном! Знаете почему? Внимательно вчитайтесь в отрывок, который я даю ниже, в хулиганских рассуждениях Вити заключен глубочайший смысл:

– Великану много работы... – Мальчишка помедлил, почесал обгоревший нос. – Поспевай только... – Он беззвучно зашевелил губами, вероятно, перечислял про себя возможные для великана дела, потому что сказал вдруг: – Можно и наклонившись. Или корабль попал в шторм. Матросы из сил выбиваются. Волна поверх неба. К кораблю спасателям не пробиться. Погибель. Смотрят матросы-герои, я к ним иду. Мне что – мое дело такое... В горах тоже много работы.

– Тоннели сверлить?

Мальчишка посмотрел на нее подозрительно. Помолчал. Потом объяснил тихо:

– Снежные люди совсем погибают. У них кормов мало.

– Вот как? – Наташа примерила бусы, все еще не решив, оставить себе или вернуть их Боброву. – Каким же ты будешь?

Мальчишка показал на пунцовую тучку, что проплывала вдоль горизонта.

– Она мне будет по пояс. – И вдруг погрузился. Прижался к Наташе и зашептал: – Я только чего боюсь? Насчет зайцев. Они же будут для меня все равно что блохи. Я же их не замечу. И ежеиков...

– Да? – усмехнулась Наташа. – Вот видишь... – Ей хотелось знать, как смотрятся бусы на желтой нейлоновой безрукавке. Наверное, хорошо.

– А может быть, шаг у меня будет громкий, они издали услышат и успеют...

– Кто?

– Ну, звери.

Работа и милосердие!

В мире это главные вещи.

Если ты, человек разумный, не выучил это правило в раннем детстве, то, сколько ты на свете ни проживи, останешься дубиной стоеросовой и засохнешь под звездным светом, до какого бы немислимого объема ни развил ты свой необъятный ум.

Писателя Радия Погодина я не встретил в жизни ни разу. Я и Юрия Ковáля не встретил в жизни ни разу. И Виктора Голявкина, и Драгунского. И Пушкина, увы, я не встретил, хотя ходил с ним по одним улицам.

Зато я встретил их книги. И если б я их не встретил, честно скажу: жизнь моя зачахла бы, как пальма в привокзальном буфете.

Хотя, возможно, это и к лучшему, что я не встретился в жизни ни с кем из перечисленных авторов. Может, кто-нибудь из них детей кушал, как Бармалей из мультфильма:

Мне не надо ни мармелада, ни шоколада,
А только маленьких детей...

И потом, чтобы оправдаться на Суде Божьем, написал пару хороших книжек. А что, вполне может быть. Книга и сочинитель, написавший нам эту книгу, могут разниться, как карлик и великан. Или как Мальчиш-Плохиш и Мальчиш-Кибальчиш у Гайдара. Уж на что мне нравится проза, скажем, Ильи Укропова, а посмотришь, как маслится его борода от стекающих по усам капель, когда он закусывает селедкой свою ежевечернюю рюмку в распивочной на Стремянной улице, так четырежды подумаешь перед тем, как откроешь его новую книгу.

Все же думаю, что к Погодину рассуждение мое не относится. Посмотрите на его фотографии, а еще лучше на живописный автопортрет – тот, где он в красном (не пионерском) галстуке и с короной, парящей над головой, а между головой и короной приютился желтый цыпленок. Человек, пригревший цыпленка, и не где-нибудь, а на своей голове, не станет заниматься антропофагией.

Тем более если он прошел страшную военную мясорубку и чудом уцелел перед этим в первую блокадную зиму (в марте 1942 года его вывезли на Урал, а с августа 1943-го будущий писатель на фронте).

Одно из главных сочинений Погодина – поздний, «взрослый», роман «Я догоню вас на небесах». Книга автобиографическая, в ней писатель написал о себе, о войне, о смерти, о том, чем жил и как выжил. Хотя по большому счету темой «человек и война» пропитана вся проза писателя – исключений не очень много, – и даже в произведениях «мирных», где о войне можно не говорить, нет-нет да и проплывет облаком память о фронтовых грозах.

Начинается роман так: «Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен...»

Это точно в такт с моим сердцем. Я, сегодняшний, думаю то же самое. Тоже боюсь быть нищим. И не боюсь казаться смешным.

Далее уже про войну: «И я иду на войну. И в детство, где я был богат. Под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшееся, как пережженная гербовая эмаль».

Я родился через восемь лет после победы и слышал много рассказов тех, кто выдержал военное испытание, которое навязал нам Гитлер. В конце 50-х мы играли в войну чаще, чем в дворовый футбол, она еще не называлась дурацким словом «войнушка», и спроси меня тогда, кого я больше всех ненавижу, я бы честно сказал: «Фашистов». Я бы и сейчас так ответил.

Военная проза Погодина крепкая и чистая, как фронтовой спирт.

Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном. Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу – в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем, и он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно: все молодые солдаты, а их в роте было более двух третей, отравились и на долгое

время потеряли охоту к вину, даже к разговорам о винопитии. А вина было много – Румыния. Спирт не давали, не давали и – нате вам – выдали.

Башковитые старики придумали следующее: как только молодой обслонявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легохонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и ухмылялись, как коты.

Не могу удержаться и не процитировать еще один «спиртовой» отрывок:

Потом Пе отглотнул из бутылки еще глоток, уже весело и бесшабашно, и упал в воронку, мягкую, как илистый берег, – от пашни шел запах талой воды, – поднялся на локте, ласково оглядел поле, вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул, похожий на шкварку в ржаном тесте. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом.

Выше я написал про автопортрет. Погодин был еще живописец. Не знаю, когда он впервые взял в руки кисть – должно быть, сразу после войны, – но проза его, любая, даже эта, биографическая, напоминает живописное полотно.

Человек, «похожий на шкварку в ржаном тесте». Нет, товарищи, каково?! А «взрыв... присыпал его всходами пшеницы, как укропом»? Сразу представляешь картину.

Теперь о взрывах, воронках. Бомбами нас, советских, шагавших по дорогам Европы в победоносном сорок пятом году, забрасывали не немецкие летчики – верней, не одни немецкие. Погодина и его товарищей бомбили итальянские «макаронники» с легких бомбардировщиков «капрони» (Погодин в книге называет их «Каприни-Капрони»). Это сейчас все немцы, а тогда любой школьник знал, что на юге фашиствовали румыны, на севере и Ладогe – финны. Фашизм не знает национальности, и не Гитлер его придумал.

Я неспроста так долго топчусь на военной теме. Мир меняется, и память уходит вместе со свидетелями военных дней. Да и свидетельства, нам оставленные, некоторые ревнителю «исторической правды» подбирают нынче такие, где победители превращаются в побежденных, и сама победа России подается как ее поражение, а миллионы погибших представляются погибшими сдуру: надо было не воевать под Сталиным, а сдать на милость свастике – и жили бы теперь припеваючи, как в свободной Америке и Европе.

Нет, конечно, нельзя жить единственно прошлым, презрительно поплеывая на современность. От этого человек черствеет и превращается в Кощея Бессмертного, готово раздавить любого, кто посягает на отеческие гробы. Погодин говорил о таких: «Посмотрите на тех, кто прибавил войну к своему возрасту, – они быстро состарились, превратив свою жизнь в служение прошлому и ничего не ожидая от будущего, кроме признания в непомерной прогрессии их заслуг перед Родиной, считая уже само собой пребывание в армии актом беспримерного подвига».

Но надо же ведь также и понимать, что, обнуляя и искажая память, живя только днем сегодняшним, мы тем самым обращаем свое беспамятство на пользу мировой пустоте, превращаемся в Ванек, родства не помнящих и пляшущих под любую дудку.

Погодин, говоря о войне, намеренно не пишет о героизме. Война у него – работа. Черная, изматывающая, злая, но единственно необходимая из работ, ибо что было в ту пору необходимое, чем чаемая людьми победа? Если нужно было взять языка, перерезать фашисту глотку, вонзить в его сердце нож, делали это, не рефлексировав, без оглядки на слезливую совесть. Враг есть враг и должен умереть первым. А родина – это родина и должна выжить и победить.

Писательница Мария Семёнова рассказывала, что Радий Погодин (на фронте он воевал в разведке во 2-й танковой армии, с нею и дошел до Берлина) в устной беседе с ней, когда они заговорили о героизме, высказался неожиданно откровенно. Работу фронтового разведчика он сроднил с «профессией» уголовника. Действовали тихо, без выстрелов, работали ножом или финкой. Это благородные рыцари вставали в позу и бросали перчатку. А когда тайком про-

никаешь во вражеское пулеметное гнездо или в окоп противника, действуешь стремительно, не раздумывая, чтобы никто из немцев не успел позвать на помощь своих и выстрелами не предупредил неприятеля.

А перед фронтом была блокада. Тема трудная и тяжелая, но для нас, в душе ленинградцев, она как заноза в памяти, с которой невозможно сродниться, но извлеки ее оттуда щипцами – и мы перестанем быть.

Нужно было еще подняться на третий этаж. Этот прием давно отработан. Берешь ногу руками повыше колена, ставишь ее на ступеньку и, опираясь на колено руками, распрямляешься. И снова ставишь ногу руками на следующую ступеньку. И так все выше, и выше, и выше...

Когда я вошел в свою комнату, мне навстречу из зеркала с золоченой рамой шагнуло чудовище с красными рачьими глазами и посиневшим голым черепом. Шапку я почему-то снял перед дверью. Глаза мои вылезли из орбит не фигурально, но просто вылезли. Они торчали. Они висели, как две громадные вишни, – белков не было. Только черный зрачок посреди красного.

Я не упал. Я опустился на колени. Прежде чем упасть, мне хотелось поправить глаза – засунуть их обратно в глазницы. Но на это у меня не хватило сил.

Не дай бог кому-нибудь испытать подобное. Радий Погодин испытал. Выжил. Бог его миловал.

Он пишет, что блокада ему не снилась никогда. Объяснение приводя такое:

Даже во сне, даже через боль, растормаживающую сознание, мозг не захотел пропустить меня в блокадную память... Блокада не конструктивна – я говорю о чувствах, – потому и реконструкции не поддается. Можно написать пьесу по поводу блокады, но не о страданиях и не о ее сути. Драматургия – самодвижение. Блокада – неподвижность. Суета подмешивает в рассказ о блокаде желание оправдаться. Также и обилие деталей. Глаз не выхватывал мелочей – глаз держался за сущности: хлеб, печурка, вода, дрова...

Горе, боль были притуплены – иначе разве кто-нибудь это выдержал бы.

Погодин довоевал до Берлина. Награжден двумя орденами Славы, двумя – Красной Звезды. Это не считая медалей. Но ни ордена, ни медали не удерживали простодушного человека от слова, сказанного в сердцах, да еще не при тех ушах, при которых его стоит произносить.

После войны меня понесло по стране: остановиться не мог. Менял города, осваивал профессии. Наконец осел вроде – в Москве, в пожарной охране. Призвания к огню не было, просто там кормили. Так я и начал печататься в газете «Боевой сигнал» – это была пожарная многотиражка в Москве. Печатал заметки с художественным уклоном. Да, уже тогда меня на художества тянуло. И рисовал неплохо... Вышло в 1946 году постановление ЦК по работе литературных журналов. И – статья Жданова. Как приказали, редактор нашего «Боевого сигнала», майор, собрал корреспондентов – и штатных и нештатных – и все это нам прочитали вслух. Люди молчали. А я почему-то нашел для себя возможным сказать: «Жданова через двадцать лет никто и помнить не будет, а Зощенко и Ахматова как были великими писателями русскими, так и останутся». Ночью ко мне пришел единственный в газете вольнонаемный литсотрудник и сказал, что лучше бы мне Москву

покинуть, так как майор подал рапорт обо мне в политотдел. Утром я из Москвы ушел. Скрывался. Ездил по стране...

Перебью этот отчет Погодина следующей цитатой. В эпоху тотальной бдительности (а от 48-го года до минувшего военного пятилетия прошло не так уж много времени, чтобы из голов жителей победившей в войне страны не выветрились строки инструкции, обязательные для всех и каждого) слова эти знали все:

Беженцы, слепцы, гадалки, добродушные с виду старушки, даже подростки – нередко используются гитлеровцами для того, чтобы разведать наши военные секреты, выяснить расположение наших частей, направления, по которым продвигаются резервы. Одним из методов, наиболее излюбленных немцами, является засылка лазутчиков под видом раненых, бежавших из плена, пострадавших от оккупантов, вырвавшихся из окружения и т. п.

Понимаете теперь, как непросто было ездить Погодину по стране? Поэтому:

Вести такую жизнь я мог бы очень долго: все-таки бывший разведчик. Но решил эту баланду не тянуть. От чувства загнанности устал, надо было от него освободиться. Не чувствовал я себя преступником, прятаться было тошно. И приехал я в Ленинград. Стал жить у отца. Успел немного поработать штамповщиком. Пришли...

Короче, статья 58, пункт 10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений... Карается высшей мерой социальной защиты – расстрелом или объявлением врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества».

Расстрела, слава богу, Погодин счастливо избежал, дали ему пять лет лагерей, из пяти он оттрубил неполные три года (два года четыре месяца) и вернулся в Ленинград, туда, откуда ушел, на свой Васильевский остров. Был апрель 50-го. Примерно с этого времени он и начал заниматься писательством.

Какую писатели ведут жизнь? Насыщенную, конечно. Погодин писал книгу за книгой. Юрий Герман и Алексей (Леонид) Пантелеев рекомендовали его в Союз писателей. Приняли. И это понятно. Если в писательском Союзе присутствуют такие странные имена, как Плюгавин и Долбак-Мухлинович, отметившиеся в русской литературе примерно тем же, чем отмечают мухи свое пребывание на стенах общественного туалета, то уж автору «Муравьиного масла», «Кирпичных островов» и «Рассказов о веселых людях и хорошей погоде» самим Богом было назначено осчастливить этот самый Союз.

И как-то так повернулось, что писал он в основном про детей, то есть числился писателем детским (хотя книг для людей взрослых написано им тоже немало, особенно в последние годы). А какой уважающий себя детский писатель не писал сказок? Даже Илья Укропов, о котором я упомянул выше, сочинил сказку про волчье ухо, хотя лучше бы он этого не делал – детей пожалел.

Вот и Радий Погодин написал их где-то с десятков.

Самый полный сказочный сборник, куда попало, кажется, все, что Погодин сочинил в жанре сказки (кроме повести «Шаг с крыши» и цикла коротких сказок «Про девочку Полечку и ее одинокую жизнь», написанного в 1992-м, предпоследнем году жизни писателя; и еще я не считаю за сказочные ряд рассказов и повестей, в которых некоторым животным писатель

дал ответственную задачу говорить человеческим голосом), вышел в 1989 году в ленинградском отделении «Детской литературы». «Земля имеет форму репы» – называется эта книга, проиллюстрированная митьком Флоренским. Придумай я такое название, я три дня бы ходил счастливый, высоко подбрасывал шапку и напевал бы себе под нос: «Ай да я, ай да сукин сын!»

Однажды по просьбе Доры Борисовны Колпаковой, замечательного детгизовского редактора, начинавшей еще при Чевычелове, рыцаре советской цензуры, про которого Маршак написал:

Чево, чево, Чевычелов,
Чево, чево ты вычитал,
Чево, чево ты вычеркнул,
Чевычелов, Чевычелов... —

я подготовил главу для двухтомной «Истории ленинградского „Детгиза“», до сих пор так и не вышедшей. Глава называется «Детгиз фантастический», говорится в ней о фантастике, об авторах, работавших в этом жанре, которых издавали в «Детгизе». Есть там несколько абзацев и про Погодина. Вот они:

Радий Погодин. Вот уж кому я всегда завидовал доброй завистью, так это ему. За умение давать своим книгам совершенно удивительные названия. «Земля имеет форму репы». «Включите северное сияние». «Лазоревый петух моего детства».

С фантастикой, тем более научной, проза Погодина точек соприкосновения не имеет. У него сказка, а не фантастика. Чем сказка отличается от фантастики? Тем, что в сказке чудо не объясняется. Чудо есть чудо и не требует объяснений. Когда чудо пытаются объяснить – это уже фантастика. В сказке «По щучьему велению» все понятно и так. Но когда под ее сюжет начинают подводить научную базу, придумывают какие-нибудь волны, меняющие физическую природу мира и заставляющие рыб говорить, то это уже фантастика. Научная – научнее не бывает.

Язык Погодина тоже сказочный. Вот послушайте:

Тогда я пошел в первый класс. По холмистым полям. Сквозь степенное жито. Через речку Студенушку – по двум жердочкам.

Шел под небом, таким голубым, которое, кроме детей, видится матерям в еще неразгаданных глазах новорожденного да сморенным войной солдатам...

Так начинается его сказка «Лазоревый петух моего детства».

Вчитайтесь в эту прозу. Здесь что ни слово – фантастика. Ведь настоящая фантастика не в сюжете. Она в словах, в умении расставить их так, чтобы вышел не годовой отчет о проделанной культурной работе, а чтобы случилось чудо и слова запели и заиграли, резонируя с сердцами читателей.

Не удержусь, еще приведу отрывочек из Погодина, из сказочного рассказа со сказочным названием «Земля имеет форму репы»:

И она вошла. Стройная как обелиск.
Тогда встал Яшка Кошкин. Спросил:
– На Марсе есть жизнь?
– Есть, – сказала она.
– А на Венере?
– Само собой. Уж я-то знаю.
Тогда поднялся Ковалев Петя.

– Ты не могла бы показать нам форму Земли средствами математики?

– С удовольствием. Если учесть массу, жидкое ядро, скорость вращения вокруг оси и вокруг Солнца, а также влияние различных сил галактического и общевселенского характера, квазаров, белых карликов и черных дыр... – Вожатая раздумянулась. Задумавшись, она мазала себе мелом кончик носа. А когда закончила писать уравнение, отошла от доски и полюбовалась. – Вот, все сказанное учтя, мы можем отчетливо видеть, что Земля имеет форму репы.

– Ты видишь? – спросила она Петю.

Петя сознался, мол, видит, но не отчетливо, у него очки запотели.

Надеюсь, не у всех читателей очки запотели, а если у кого-то и запотели, то, надеюсь, этот читатель протрет их вовремя мягкой тряпочкой и увидит, какой удивительной формы планета Радий Погодин.

Но лучшее, что есть у Погодина, все же не сказки. В сказках он... ну, не знаю. Они у него... да, хорошие. «Маков Цвет». «Где ты, Гдетыгдеты?» (куда вошли замечательные сказочные истории про жеребенка Мишу, мышонка Терентия и зверя Индрика), «Турнир в королевстве Фиофигас»... Но они... как бы это мягче сказать, чтобы никого не обидеть? Они как детские пирамидки. Когда нанизываешь на стержень кольца – желтое на красное, синее на зеленое – и радуешься тому, как пестро у тебя получается. Сцепление событий в этих сказках необязательное. Заменяй желтое колечко зеленым, и выйдет так же пестро, как до замены. Может быть, так и нужно. Дети, когда строят дворцы из кубиков, вряд ли думают об архитектуре своих строений. Как сложится, так и сложится. Какой кубик под руку подвернулся, такой и сделался опорой для следующего.

Чего не скажешь о его прозе не сказочной – детской и особенно взрослой. Руку на сердце положи, она у него волшебнее сказок.

Вот повесть о Русском Севере «Включите северное сияние», маленький отрывочек из начала:

В школе-интернате на втором этаже, в комнате номер пятнадцать, проживал Соколов Ленька, ученик третьего класса. Имелись у него в комнате шкаф, стол, радиоприемник, портрет космонавта, картинки из жизни животного мира, зеркало, стулья и две железные кровати, застланные малиновыми одеялами. Была у Леньки в комнате муха, которая по какой-то причине не заснула на зиму, но подолгу сидела в каком-нибудь углу. Потом, обалдев от тоски, громко и быстро летела через всю комнату и снова садилась дремать. Мухой Ленька очень гордился. Еще была у Леньки родная сестра Наташка. Правда, жила она в другой комнате, этажом выше, но сейчас находилась у Леньки в гостях... Наташкой Ленька гордился редко, чаще бывал на нее сердит...

А теперь разберем, как на уроке литературы, что же здесь такого волшебного. Вроде бы никаких красот, никаких гордо реющих буреветников над седой пучиной моря и гиперболоидов инженера Гарина, стреляющих смертельным лучом. Есть муха, обалдевшая от тоски, есть Ленька, сестра Наташка... Но вот в этой как бы обыденности, в этом инвентарном перечислении предметов Ленькиной комнаты, в этой мухе, бодрствующей зимой, и заключается волшебство прозы, ее повышенная художественность. Не понимаете? Скажу по-другому. Заставить читателя улыбнуться, не прибегая к сложным приемам, простыми средствами подарить улыбку – разве это не волшебство? Если вы и сейчас не поняли, то займитесь лучше вязанием, или вышиванием крестиком, или шерсть из кота вычесывайте, а на мои разъяснения наплюйте.

Самое место признаться в том, что Радий Погодин не был писателем моего детства. Я в те годы читал всякую шпионскую ерунду вроде «Приключений майора Пронина» и романа «Тарантул». И ничуть о том не жалею, даже наоборот. Не прочитай я этих книжек тогда, сегодня я бы точно не стал тратить на них свое бесценное время, которого чем дольше живешь, тем меньше становится. Скажу больше: чем позже в круг твоих читательских интересов входят книги хороших авторов, тем ярче ощущаешь контраст между плохой и хорошей книгой.

Лучшая похвала книге – постоянное обращение к ней, частое ее перечитывание. Не все то, что читалось в детстве, захочешь перечитывать в зрелости. А вот то, что запало в зрелости, останется в тебе навсегда. И Погодина, открытого мной не то чтоб очень давно, я уже поставил без колебаний на мою золотую полку рядом с Диккенсом, «Гекльберри Финном», Уильямом Сарояном, Фазилем Искандером, Юрием Ковалем и еще полусотней самых близких моих друзей. «Красные лошади», «Живи, солдат», «Кирпичные острова», «Где леший живет?», «Мальчик с гусями», «Я догоню вас на небесах», цикл повестей и рассказов о солдате и художнике Василии Егорове с человечнейшим рассказом «Одинокая на ветру» и страннейшей из странных и удивительнейшей из удивительных повестью «Борьба с формализмом»... Это будет читаться и перечитываться.

Погодин не дожил до семидесяти. Работал до последнего, успел много, несмотря на болезнь и две перенесенные операции. Ушел из жизни 30 марта 1993 года, похоронен на Волковском кладбище в Петербурге.

Мой карандаш сберегался, как волшебная палочка для будущих чудес. Он, конечно, в свое время стерся, я его изрисовал. Только глупые не понимают, что волшебная палочка, как и карандаш, после каждого волшебства становится чуть-чуть короче и наконец прекращает быть.

Хорошую историю о Погодине рассказала мне Мария Семёнова, про нее я упомянул мельком в военной части этого очерка. Идут они со знакомой с творческого вечера Радия Петровича в Доме писателя, тогда еще не сторевшем. Знакомая говорит Семёновой, что Радий Петрович удивился, почему она к нему не подошла после вечера, расстроился даже. «Как это не подошла? – в свою очередь удивилась писательница. – Подошла, и мы с ним чуть не полчаса говорили». И потом, возвращаясь домой в автобусе, сильно переживала, что пусть невольно, пусть по его забывчивости, но расстроила замечательного человека. «И вдруг, – рассказывает Семёнова, – я слышу, как в ухо мне льется знакомый голос: „Брось, не переживай, с кем не бывает“». Радий Петрович, голос принадлежал Погодину. «Оборачиваюсь – никого, только незнакомые пассажиры». Вот такая таинственная история. А через несколько месяцев после этого случая Радия Петровича не стало. И Дом писателя в том же году сторел.

В периодической системе русской литературы Радий Погодин – элемент редкий.

Я уж не говорю о том, что он первый в мире определил правильную форму нашей планеты (Земля имеет форму репы, вы помните) и для этого ему не понадобилось наблюдать за планетой сверху, как Юрию Гагарину или Белке и Стрелке.

Я уж не говорю о том, что писатель, кроме формы Земли, дал единственно верное объяснение тому богатству ее животного мира, которое мы имеем и которое не умеем ценить («... когда-то давно, много-много лет назад, когда все люди были детьми, когда деньгами служили разноцветные стеклышки, земля была свежая и молодая, такая мягкая, такая пушистая и такая духовитая, как горячий хлеб. И вот на ее поразительный запах слетелись со всей вселенной букашки, и лошади, и слоны, и киты, и медведи, и черепахи. Слетелись – и теперь на земле обитают» – «Книжка про Гришку»).

Редкий он потому, что очень хорошо понимал: к какому бы литературному берегу писателя ни прибило, он всегда должен помнить четко: детская литература, не детская – если ты

хороший писатель, то пишешь без оглядки на возраст. Не дело, как говорил мудрец, лысому усатому дядьке писать, сидя на корточках, чтобы свой динозаврий возраст подлаживать под возраст ребенка. Писать нужно вне возраста и размера шляпы. Только такая литература останется в читательском космосе. Все прочее – пища ватерклозета.

Александр Етоев

Я догоню вас на небесах

Роман

Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен.

Я просыпаюсь рано. Лежу и боюсь – страх свивается у меня под сердцем во сне.

Начинает говорить радио. О перестройке. О катастрофах. Нынче многие умирают в невыслышимых катастрофах. Это лучше – по крайней мере, не скучно. Молодых жалко.

Включаю телевизор. Телевидение показывает катастрофы и видеоклипы. Видеоклипы очень похожи на катастрофы.

За окном город. Он на грани истерики. Со всего украдено. От всего откушено.

Мы станем сильными и подлинно великими, когда весь мир пройдет сквозь нас. Мир уже прошел сквозь нас. Оставил холод в наших сердцах.

Я подхожу к окну, чтобы взглянуть на небо, далекое и голубое. Говорят, оно в трещинах.

Старые невыслышимые петербуржцы влачат по улицам ампирическую мораль и потому, что сами они уже далеко позади греха, тычут ею в лицо молодым. Грех на медном коне обогнал стариков, обскакал орденосцев и комсомол. Дети его догонят и обратят в свою пользу. Старики не пускают детей. Но понимают, что удержать их нельзя. Дети рвутся вперед. Старики пытаются придержать их рассказами о войне.

Ко мне приходит Писатель Пе, мой фронтовой друг. Он приходит не каждый божий день, но все же часто. Он говорит: «Брось думать о небе. Ты же сильный мужик. При стечении обстоятельств мог бы стать кандидатом наук. Радуйся. Мы, старик, весело жили. Мы жили банкетно. Мы видели небо в алмазах. Мы боролись за урожай».

Он говорит уже не так гордо: «Мы, не думай, не виноваты. Не бойся дня».

И я повторяю себе каждое утро: «Не бойся дня. У тебя есть костюм, есть ботинки».

Я надеваю костюм. Я выхожу.

Город мой неопрятен. Голубое небо над головой, говорят, дало трещину. И древние боги заливают мои следы скудным своим половодьем.

– Ой, не ходи ты чужими дорогами, – говорят они мне.

– Да кабы знать, какие дороги наши.

И я иду на войну. И в детство, где я был богат. Под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшееся, как пережженная гербовая эмаль.

Поезд был сформирован в Бологом только до Чудова: запломбированный пульман, цистерна, уголь, зачем-то коровы симментальской породы, осоловевшие от свежего сена, присыпанного отрубями и солью. И пассажирских вагонов два – старорежимные, зимние, с узкими окнами. Пассажиры – в основном женщины с ребятишками-школьниками. В основном ленинградки. И мужчин трое. Средних лет полувоенный с лобастым мальчиком-крепышом. Путеец высокого ранга, осанистый, хорошо выбритый, с той отмытостью кожи, которая бывает у людей, привыкших высыпаться и пользоваться парфюмерией. Путеец вез девочку лет четырех. Третий – парнишка шестнадцати лет, у которого ничего не было, кроме мучительной способности краснеть.

На станции Дубцы поезд стал. Серый от бессонницы машинист сказал, вернувшись из станционного зданьяца, что откатит в Малую Вишеру: мост через Волхов разбомбили, в Чудово вот-вот войдут немцы. Кто-то из женщин его осадил: мол, насчет немцев в Чудове – вражеская пропаганда – за такое в висок получить можно.

Машинист посерел еще больше.

Полувоенный подтолкнул вперед своего лобастого сына, и они зашагали по шпалам. Брюки у них были подвернуты, заплечные мешки хорошо подогнаны. За ними потянулись женщины с кошелками и узлами. Поначалу их мотало от рельса к рельсу. Они дергали своих ребят – получалось, что ребята специально путаются у них под ногами. Потом движение наладилось.

Был август сорок первого года. Бубенчики льна звенели по Волхову.

Парнишка шел в Ленинград. Там у него была мать. Там у него был дом.

Станет этот парнишка солдатом – сержантом. Закончит войну в Берлине. В орденах и медалях, шрамах от ран, с заиканием от контузии. А на тот августовский теплый день он еще ни выстрелов не слышал, ни смерти не видел.

В первые дни войны, как и все его одноклассники, двинулся тот парнишка в военкомат, но был унижен и оскорблен черствостью военных чиновников, не желавших знать, что право на героизм – неотъемлемое право советского человека. Потом решил, если уж не суждено ему участвовать в быстром разгроме фашистской силы, поехать на лето в деревню.

Оттуда он и возвращался, полный нервного страха, рожденного словами и образами, вдруг потерявшими смысл. Иногда он повторял про себя: «Осоавиахим», «Ворошиловский стрелок», «Броня крепка, и танки наши быстры». Не наполняя эти слова иронией, он как бы ощупывал их и, ощупав, клал на место.

Парнишка помахал машинисту рукой, и машинист ему помахал в ответ. Поезд пятился неуверенно, словно в туфлях без задника. Но вот фукнул паром в черный песок и пошел, набирая скорость. И, уже порядочно откатившись, машинист дал гудок, прощаясь с ними, решившимися на неведомое.

Люди шли по шпалам. Женщины в пестрых платьях. С ними ребята. Собственно, ребята и послужили причиной этого похода. Родители вывозили их из деревень, куда отправили еще до объявления войны. И путеец ездил за своей девочкой в деревню, – наверное, жена его была деревенская. Сам-то из инженерской семьи, может быть из профессорской, – наверное, тоже профессор.

Девочка прыгала со шпалы на шпалу и вскоре устала. Путеец посадил ее себе на плечи. Девочка закрывала ему глаза и смеялась. Он улыбался и целовал ей ладошки.

Парнишка замыкал шестивие. Шел трудно. Ноги у него болели. Руки болели.

Из деревни в Бологое он отправился лесом. В лесном озере решил искупаться: когда ему еще так придется – поплавать в лесном озере, зеленом и прозрачном, как леденец.

Где-то посередине озера у него свело ноги. Сразу обе. Он бы не выплыл и утонул бы – исчез в безгласном лесу, видя все вокруг черным, захлебываясь и хрипя, забыв о кролях и брассах. Но вдруг почувствовал, что стоит на чем-то прочном.

Пообвыкнув, он осторожно окунулся, пытаясь под водой размять окаменевшие икры и пальцы ног, наползшие один на другой. Выпрямился вздохнуть – услышал шум автомобильного двигателя. Малоезженной лесной дорогой шла полуторка. Он закричал. Замахал руками. Полуторка остановилась. «Быстрее!» – велели ему. Но быстрее он не мог: «Судорога у меня!» Но все же поплыл, не шевеля ногами, приныривая, чтобы удержать тело в горизонтальности.

К нему саженками подмахал мужик, тот самый – полувоенный, который шел сейчас впереди всех со своим лобастым крепышом-сыном. Мужик подтолкнул его разок-другой. И помог встать, когда он выполз на берег. И помог в машину залезть. В кузове, уже на ходу, они оба оделись. Вот тогда старуха в белом платочке, завязанном под маленьким сморщенным подбородком, сказала: «Сейчас купаться нельзя. Судорога вся от тяжелых мыслей. Она в голове...»

Парнишку подташнивало. Ломило икры. А парнишка думал, что было бы даже смешно вот так утонуть в начале войны в пустом лесу, когда немец прет к Ленинграду. Парнишка негодовал. И от негодования у него дрожал подбородок и отсыревал нос. Сердце внезапно падало, он всхрапывал – это было рыдание, освобождение от смертельной тоски.

Впоследствии лесное озеро настойчиво возвращало его память к своему неподвижному мягкому блеску, к своей тишине, тоже мягкой и мягко-прохладной. Парнишка уверился, что он один жил тогда в озере – плавал и дышал, остальное все оцепенело в ожидании решения, жить ему или нет, и, когда решение вышло положительным, кто-то, может быть души уже ушедших, подставил ему под ноги свои плечи.

Путеец иногда прыгал через шпалу, а то и через две. Девочка тогда смеялась. Слушая ее смех, парнишка стал согреваться. И в голове его стали возникать героические картины его будущих подвигов.

Самолет вынырнул из-за леса. Что летит немец, все поняли сразу. Но стояли, смотрели в оторопи и любопытстве к летательному аппарату и к летчику. Что им бояться, бабам? Видно же сверху, какое их войско ситцевое.

Самолет пошел низко над железной дорогой. Отделяясь от свистящего рева пропеллера, отчетливо и капризно застучал пулемет.

Пули расшвыривали щебенку, отрывали от шпал щепу. Этот смертельный пунктир надвигался. Женщины завизжали, бросились врассыпную, подхватив детей. Они падали, зарывались в высокие травы, вскакивали, кричали своим ребятам, чтобы те головы не высовывали. Ребята вели себя проще и собраннее.

Самолет прошел над парнишкой – грохот, взвихренный воздух, кресты. Парнишка даже не испугался, только рот открыл. Самолет ушел в перспективу и взмыл вверх.

В двух шагах от парнишки стоял путеец. Девочки на его плечах не было. Она лежала на шпалах. На правом боку. Руки прижимала к груди. Ноги ее слегка согнулись в коленях и сколопалились трогательно, как у всех малышек, когда они спят. Лицо было тихим.

Потом парнишка все думал, почему не прочитывалась на ее лице боль. И, только став взрослым, понял, что ткани ее лица, никогда не знавшие страха, еще какое-то время жили и, отъединенные от сознания, успокоились, возвратились к привычному безмятежному состоянию, к состоянию счастья и радости, любви и тепла. Девочка лежала, как бы ожидая, что ее накроют мягким одеялом и поцелуют на ночь. И завтра все будет снова ярко и чудесно.

У парнишки в голове было черно. Ему хотелось пасть на колени от какого-то всеохватного стыда. Летчиков парнишка ставил превыше всего – летчики начинали двадцатый век. У него отчим был летчик.

Мыслей в голове у парнишки не было, только тоска.

«Он же летчик, – бормотал парнишка. – Как он мог – он же летчик...» – но эти слова нельзя было назвать словами, они уже не имели смысла. Смыслы рушились, как дома, как мосты, как храмы.

Подшли женщины с ребятами. Они окружили путейца и его дочь разноцветным венком. Дети стояли рядом с матерями. И не плакал никто. А война, еще не осознанная как безумие, вдруг осозналась. Вдруг осмыслилась. И у всех заострились черты.

Солдаты в серых шинелях лежат на озимом поле. Вокруг ростки, миллионы зеленых лучиков. Солдаты похожи на не пропаханные плугом кочки, на плешины, куда не легло зерно. Эта картина будет для парнишки впоследствии как бы символом смерти на войне, ее безмерности – поле до горизонта, и на нем все кочки, кочки... Но долго эта картина не держится, ее взрывает яркий августовский день сорок первого года. Девочка, сколопав ножки, лежит на прогретых бурых шпалах. Девочка заслоняет все видения солдата. И голос ее обезумевшего отца заглушает все голоса: «Анечка... Анечка...»

А парнишка тот – я.

Часть, в которой служил Сержант – будем его покамест так называть, – шла на Потсдам через Михендорф и Потсдамский лес. Сержант по причинам разведки мчал на машине по

другому шоссе вдоль узкого Тельтов-канала, торопился в свою бригаду, чтобы вместе со всеми, а может, и впереди других, попасть в этот город среди озер.

Сержант попадет в Потсдам, попадет, но в тот день он попал в окружение.

Остатки батальонов Девятой армии фюрера и просто одинокие немецкие солдаты, позабывшие номера и названия своих частей, отупевшие от бессонницы и отступления, заросшие грязью и злым волосом, стремились уйти за Эльбу.

В небольшом поселке в одну улицу – домов тридцать и все розовые, с красными черепичными крышами, – сгрудились пять «тридцатьчетверок», батарея гаубиц и бронетранспортер Сержанта – семь человек, включая водителя.

Поселок, названия которого Сержант так и не узнал, был зажат между кряжами, поросшими сосновым лесом, не подсолнечным, тонкоствольным, будто подстриженным, но матерым, кондовым – сосна к сосне, все красавицы.

На выезде из поселка «тридцатьчетверки» встретились с отступающей немецкой колонной, подбили три сине-черных «бенца» с радиаторами, похожими на кулаки. Техника, шедшая за «бенцами», попятилась, покатила в объезд, но пехота, усталая, злая и отупелая, пошла кряжами. С улицы поселка было видно, как она идет, – каждый солдат по отдельности. Каждый сам себе и оружие, и машина, и человек, полумертвый, отказавшийся от всех иллюзий.

Там, за Эльбой, он поднимет руки. Смотреть в глаза американцам, подняв руки над головой, ему будет все же полегче, можно сказать – совсем легко: американцеву маму не расстреливали, американцеву сестру не угоняли, американцева меньшого брата не били по голове.

Танкисты сразу же заперли входы в поселок: три танка в одном конце улицы, два танка в другом.

Капитан-танкист сказал молодому лейтенанту-артиллеристу:

– Поставь по две гаубицы позади нас, чтобы нам хвосты фаустами не подпалили. Да не стреляй, слушай, по ним – не воюй.

Сержант такую просьбу капитана мысленно одобрил: пока немцы уходят каждый сам по себе – не страшно, но разозли их, они тут же организуются, немцы это делают быстро – айн, цвай, драй! Сойдут с кряжей – и амба: пехоты в поселке – семь разведчиков.

– А ты, Сержант, – сказал капитан, – ты, наоборот, постреливай. Стань в теньке, чтобы все видеть и слышать. Ты у нас основная живая сила. Так что постреливай. Пусть помнят – спускаться сюда не надо. Конец войне не тут, конец войне там. В Берлине...

Берлин и «конец войне» были недалеко – за лесом, за озерами и плотинами, за поселками Николае-Зее, Целендорф, Лихтерфельде, маленькими и уютными, как ленинградская Стрельна. В той стороне, в небе, висела серая шапка пыли и копоты. Берлин гудел тысячами непримиримых звуков: криками атакующих рот, пулеметными очередями, ржанием лошадей – грохотом тротильных ниагар.

Вот такая была дислокация.

Воевал в экипаже Сержанта Писатель Пе, тоже сержант. Парень смелый. По военной необходимости излишне вежливый. Но можно, наверное, так сказать – вежливо-незастенчивый. Имя у него было Валерий.

Когда в роту приехал майор из газеты писать очерк о разведчике, ему отрядили Валерия. Валерий майору рассказывать отказался, объяснил необидно, что сам имеет намерение стать писателем.

Майор посоветовал ему, с чего нужно начать: мол, с уважения к старшим и к чистой бумаге.

Теперь о певице по имени Розита Сирано.

Была у немцев такая певица, модная, как у нас Изабелла Юрьева.

Возил Писатель Пе маленький патефончик и, когда позволяла обстановка, слушал Розиту Сирано. Представлялась она ему в черных чулках и страусиных перьях – в этакой белой пене.

Вокруг нее мужчины с тросточками, в тесных пиджаках, в канотье. И не вскипало у него к немецкой певице никакой неприязни, хотя, прямо скажем, была она ему чужая насквозь.

– Пойду пройдуся, – говорит этот Писатель Пе. – Может, пластиночка новая попадется.

– Ты понимаешь, что мы в окружении? – спросил Сержант.

– Тут все насквозь – если что, за мной дело не станет.

Ударил гаубица резко да еще с каким-то шлепком, это она подпрыгнула от выстрела на асфальте. Запахло горелой расческой. Не выдержал молодой лейтенант – пальнул.

Сержант подумал, подумал, да и отправился с Писателем Пе – надо же осмотреть поселок. Может быть, воевать придется, если молодой лейтенант не возьмет себя в руки.

По краям над поселком шли немцы. По сосновому бору. Сержант чувствовал их движение, упорное и глухое, как будто шел по лесу пожар без пламени и без дыма.

Солнце почти вплотную придвинулось к земле.

Перед домиками чернели тюльпаны.

– Зайдем сюда, – предложил Писатель.

Домик, им выбранный, отличался от других домиков окнами. Окна у него разные: и стрельчатые, и прямые, и круглые. Они придавали домику веселый пристальный вид, будто не Сержант рассматривал его, а он, домик, рассматривал Сержанта и находил его нестрашным. Но распотешил Сержанта цоколь, украшенный осколками чайной посуды с цветами и птичками. Осколки были вмазаны по всему цоколю, уплотняясь и укрупняясь к углам: там сияли половинки и даже целые блюдца.

Соседние дома – такие же двухэтажные, с дорожками из перекаленного, положенного на ребро кирпича, с белыми рамами и кустами бульдонежа, не подступающего близко к стенам, чтобы не заводилась на стенах сырость, – тоже были аккуратно сработаны, но не было в них проникающей во все детали согретости и умирительной колыбельности, такой, будто дом накрыт кружевами и облака над ним не простые, но тюлевые.

Сержант покуривал, дожидаясь Писателя Пе с пластинкой Розиты Сирано, на которой будет изображена белая собака, слушающая граммофон, и улыбался фарфоровой выдумке. Был в ней какой-то детский подход к красоте, хотя, если подумать, желание Бога – есть детское желание прижаться к маме.

И захотелось Сержанту пить.

Сержант поправил автомат, приспособленный для стрельбы с ремня, поднялся на крыльцо неспешно и, нажав изогнутую кованую ручку с шаром-противовесом, потянул дверь на себя. Дверь пошла тяжело и бесшумно, выпуская на Сержанта мыльный запах тревоги и ожидания беды.

В чистой намастиченной прихожей у стрельчатого окна на подставочке стоял горшок с бегонией, похожей на вислоухого пса.

Из прихожей внутрь дома вели три двери и лестница наверх. Наверху Писатель Пе перебирал грампластинки. Одна из дверей, правая от входа, вела в подвал – жители во всех домах ютились в подвалах, побеленных и обставленных для ночлега.

Сержант прошел на кухню. Из водопровода вода не текла, но кран был начищен. Все было вымыто, выскоблено. Но не было мужика в этом доме, такого старательного и умелого, – в стене у двери, ведущей во двор, торчал согнутый гвоздь. Забивали его зло, гвоздь согнулся, его так и оставили, не зная, что делать, как его выпрямить, не вытаскивая, и вытаскивать не желая – нужен был этот гвоздь, – наверно, натягивали в кухне веревку для просушивания пеленок в дождливые дни.

Сержант зачерпнул ковшиком воды из ведра – эмалированного, с крышкой. На столе стояли маленькие кастрюльки, в каких варят малышам манку и кипятят молоко. Сержант отодвинулся от стола.

Услышав какие-то звуки, Сержант вышел в прихожую.

У двери в подвал стоял немец-солдат в грязной шинели, с лицом веснушчатым, плоским и светлоглазым. Впалость щек, и щетина, и воспаленные веки – особенно дрожание губ – придавали ему вид помешанного. Он собирался с силами, чтобы открыть дверь в подвал, – поднимал руку и вновь опускал ее. Страшно было ему. Страшно не за себя. Сержант сразу понял, что это хозяин – вирт, – война сделала Сержантово сердце понятливым. Понял Сержант, что привело этого некрасивого плосколицего немца сюда, к этой двери в подвал, – там сейчас была та, кого он любил, может быть, больше жизни. Но понимал Сержант, что не надо было немцу это делать, надо было идти войной, не сворачивая к дому своему...

Немец увидел Сержанта. Пальцы его сжались в кулак до побеления в суставах. Губы, вмиг загрубевшие, растянулись в оскале. Винтовка у него была закинута за спину, у Сержанта автомат на ремне, ладонь на шейке приклада, палец на спусковом крючке. Но, наверное, не было в его лице надлежащей суровости – кулаки у немца ослабли, оскал преобразовался в улыбку, и в улыбке этой была то ли просьба, то ли согласие.

– Вирт, – сказал Сержант. – Хозяин?

– Яволь. – Улыбка немца стала растерянной, он забормотал шепотом: – Кинд... Беби...
– А сам все тряс ручку двери...

Сержант левой рукой распахнул дверь в подвал.

– Гее! – сказал.

В темноту, в восковой свет свечи, вела крутая лестница.

Сержант отступил на шаг, закинул автомат за спину и кивнул немцу: ступай, мол, я тебя тут дождусь.

Улыбка немца стала смущенной, даже униженной. Он шагнул вниз, неуклюже и тяжело, – наверное, нога у него была ранена, – стал спускаться. Шинель нараспашку делала его бесформенным и громадным в свете свечи.

Скорее всего, тем, внизу, он показался зверем. Выстрел прозвучал сухой и негромкий, как шлепок мухобойки. Стреляли из маленького револьвера, наверное даже никелированного. Стреляла женщина – мужик, какой ни на есть, пальнул бы из двустволки или армейского оружия. Оружием Германия была завалена.

Солдат постоял секунду, схватился за живот обеими руками, подогнул голову и покатился по лестнице, громяхая винтовкой.

Сержант прикрыл дверь. Вышел на крыльцо. Шар солнца коснулся земли.

Вслед за Сержантом вышел на крыльцо Писатель Пе с пластинкой.

– У нас такая Розита есть, зашарканная. А эта, гляди, новая. – Он вынул пластинку из конверта и, заслонившись ею и щурясь, посмотрел на солнце, запалившее лес над поселком. Он ничего не знал о пришедшем домой хозяине. Потом он сунул пластинку в конверт и сказал: – У меня чувство, что она померла. Погибла в бомбежке...

Еще раз резко ударила гаубица – что-то почудилось молодому лейтенанту-артиллеристу в разливах закатного пламени. Короткими очередями отозвались пулеметы Сержантовой машины.

Ночью поток отступающих немцев иссяк.

Утром Сержант уже воевал в Потсдаме. Правда, войной это можно было назвать условно, поскольку Сержанту было велено от боя не уклоняться, но стрелять выше кустов.

– Понял? – спросил его генерал, командир части, именно он дал Сержанту такой приказ. – Ты ленинградец, ты понять обязан. Представь себе Петергоф. Довоенный, конечно. Это похоже. Парк прекрасный. За кустами мраморные Артемиды. Они хрупкие.

– Так точно, – ответил Сержант. – Понял. Немцы, если они там окажутся, будут стараться нас ухлопать, а мы в ответ будем весело палить в небо.

– Зачем весело – пали грустно...

А приказано было Сержанту протереть королевский парк Сан-Суси.

Немцев в парке не оказалось ни военных, ни штатских – только солнце в регулярных аллеях с подстриженными кустами, чистые стекла оранжерей да девы белого мрамора.

Одноэтажный дворец Сан-Суси, который дал свое имя всему ансамблю, тоже был пуст. В золотистых залах лежали горы летней дешевой детской и женской обуви, – наверное, нечем было прикрыть драгоценный паркет от ужасных русских фугасов.

Не было на стенах ни шпалер, ни картин, и это было красиво – ничем не заслоненное рококо – из залы в залу, как ленты кружев.

Сержант действительно вспомнил довоенный Петергоф – военного ему увидеть не довелось – и по какой-то сложной ассоциации тот розовый домик с фарфоровым цоколем. Услыхал он свистящее хриплое дыхание немца-солдата, стук его тяжелой винтовки, упавшей к ногам жены, и песню Розиты Сирано, роскошно-доступную, как харч в дорогом ресторане.

Сержантом тем был я.

Писатель Пе с этим домиком меня, конечно, опередил: вставил его в какую-то свою абсурдистскую повесть – этот домик кому-то там снится. Он снится только нам – нам обоим.

Приходит однажды Писатель Пе – на груди галстук в косую полоску, брюки наглаженные, сам причесанный. Глаза удивленные, как у собаки, которой вместо каши с мясом дают компот.

– Неуютно мне, – говорит. – Надесь побывал я у студенток в библиотечном институте. Изжога...

– И что студентки?

– Молчат. Это тебе не университетский филфак. Слушай, у студенток филфака зубы в три ряда. Трехрядная гармошка. Хромка. Баян. А тут студентки тихие. Сидят, как пугливые птички. Но есть и крупные. В библиотечном институте чем крупнее студентка, тем больше она знает. Детерминанта у них, понимаешь, рост. Опора!

– Что значит «опора»?

– Слово. Слово было в начале – поэтому в жизни так много слов. Слово было лишь в самом начале – поэтому нужные слова позабылись. Слово в тебе самом. Надежды развеются, любовь пройдет – останется слово. Умирать будешь наедине с собой. Говорить только сам с собой. Если даже твои слова будут обращены ко всем. Если хочешь понравиться людям, иди к ним с вымытой головой.

Писателю Пе нечего мне сказать. Когда он приходит ко мне, у его совести всегда вид отсутствующий. Помолчав, он восклицает громко и жизнерадостно:

– А как твоё здоровье, старик? Надеюсь, тебя не очень беспокоит грыжа?

Говорю:

– Ее у меня никогда не было.

– Никогда... Так это же хорошо. Ты мне пивка не нальешь?

Я выставил бутылку пива. Писатель Пе набросился. Я выставил вторую. Писатель Пе закинул ногу на ногу. Для своего способа жить он изобрел метод трагического оптимизма, и сейчас, выпив пива, изображает ангела, выпорхнувшего из химчистки.

Я же представил себе дело так: приходит Писатель Пе в хорошем костюме к студенткам, читает им что-то не совсем готовое, не понимает, брат, что студенток нужно смешить, потом говорит им экспромтом, что вовсе не глаза, а наши вопросы есть зеркало нашей души. «Поспрашивайте, – говорит, – меня. Не стесняйтесь».

Студентки тихо разглядывают маникюр, тихо жалеют Писателя Пе и тихо дышат, гадая, кто же, кто встанет и, принеся себя в жертву приличию, задаст вопрос безвкусный, как взбитый белок: «Над чем вы сейчас работаете?»

Наконец этот вопрос произнесен. Писатель Пе дает невразумительный ответ.

Букет улыбок. Лукавство в глазках. Все довольны тем, что встреча кончилась. Писателя ведут на кафедру пить чай.

Но оказывается, было все не так.

Сразу поднялась крупная студентка Мария. Активистка.

– Я, – говорит, – не удовлетворена. Творчество Писателя Пе представляется мне излишне элегантным, изысканным, эстетским – комильфо. Так о войне не пишут.

Другие, мол, писатели изображают войну хлестко и очень правдиво. Не скрывая грязи. До сего дня она не подозревала, что Писатель Пе воевал сам и даже награжден орденами, был самолично ранен и контужен, участвовал в сокрушении Берлина и даже имеет темные пятна в биографии. Тем более она удивлена. Покачивая бедрами:

– Ответьте, почему вы не описываете грязь войны?

Писатель Пе разоблачен, повержен. На нем стоит красивая нога в колготках за семь семьдесят.

И говорит он снизу:

– Студентка милая Мария. Видите ли, дорогая, в Великую Отечественную войну со стороны фашистов воевали асы, суперлюди, тигры, викинги, нибелунги, мертвые головы, белокурые бестии, а с нашей стороны учителя, художники, артисты, поэты, доктора. Я называю не профессию, но склад души. И не могло быть двух солдат с одинаковым внутренним зрением. Одному бегущему в атаку запомнилась цветущая сирень, другому – оторванная взрывом нога, о которую он споткнулся.

О Мария, почему вам требуется грязь как правда? Мы на войне, Мария, очень часто мылись. Даже под дождем.

– Вы могли съесть хлеб убитого?

– Конечно. Зачем убитому хлеб? Оружие ему тоже не нужно.

– И сапоги?

– Мария, солдаты на передовой были обуты в башмаки с обмотками.

Затем Писатель Пе попробовал встать на ноги с помощью метафоры. Мол, представьте – из квартиры, где жил великий человек, все вынесли в музей. Сначала бриллианты, изумруды, произведения искусства, дорогую мебель, фраки. Потом мебель поплоче, белье, кухонную утварь...

И вот, когда квартира опустела, явились разыскатели – такие, с лихорадочно блестящими глазами. Где-то нашли окуроч, где-то соскребли плевоч. «Вот правда, скрытая от нас!» – воскликнули они, давась восторгом. Побежал по их жилам кипяток ликования, и почувствовали они себя почти богами. А может, даже надбогами, ведь приобщение к великому через дерьмо – такая радость. И немцы в каждом кинофильме, такие ражие, такие Зигфриды, принялись резвиться под струей в фонтанах, водопадах, в Карпатах, в Альпах, в Арктике. А наши люди, Мария, погружались в такую необходимую вам грязь.

Мария, вам не жаль, что в нынешнем искусстве золотоискателя вытеснил дерьмоискатель?

Тихие студентки-птички распушили перышки. Наверно, они не все любили отличницу Марию.

Но она не убрала свою красивую ногу с груди поверженного Пе. Она сказала:

– У ваших произведений хромает форма. Если вы выстраиваете гору Фудзияму, то гора эта пустая внутри.

– Я не выстраиваю гору Фудзияму. Я создаю сосуд. Чтобы вы наполнили его вином своей любви и своего воображения. Ах, вы не пьете. Увы! Я создаю сосуд из хрусталя, чтобы ваш любимый суп с большим количеством моркови налить в него было по меньшей мере неловко.

– Так и сказал?

– Ну не совсем. Профессора сидят, доценты, кандидаты. Примут на свой счет. Сказал: синдром судьбы – услада неофита. Вы судите Деву Пречистую за целомудрие. Вы не устали,

Мария? Великий Фидий создал чашу для вина, сняв форму с девичьей груди. Форма Фидиевой чаши совершенна – в сущности, солдаты идут в бой за Деву...

Я познакомился с Писателем Пе давно. Мы вместе воевали. Он не курил. Был непривычен к хмельному. Горд до строптивости. Когда окончилась война, ему еще двадцати не было. Он прожил трудовую жизнь, но на нем это вроде и не отразилось. Если бы ему пришлось выбирать из ста производств, он выбрал бы что-то слепящее – хрусталь или иконы.

Именно этот его осуществленный выбор влияет и на мое видение мира. Он так настойчив, а мне так смешно...

Над полем озимой пшеницы высоко в небе кружили итальянские бомбардировщики «Каприни-Капрони». Их называли просто «макаронники». Бомбардировщики не пикировали, вываливали бомбочки с высоты. Напитанная влагой земля взметывалась черными хвостами.

На озими топтались солдаты. Они пришли сюда первыми. Солдаты падали, сминая нежные ростки пшеницы, и засыпали. На межу они не желали падать, межа была крепкой, как корка черного деревенского хлеба.

Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном. Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу – в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем, и он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно: все молодые солдаты, а их в роте было более двух третей, отравились и на долгое время потеряли охоту к вину, даже к разговорам о винопитии. А вина было много – Румыния. Спирт не давали, не давали и – нате вам! – выдали.

Башковитые старики придумали следующее: как только молодой обслынявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легохонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и ухмылялись, как коты.

А этот, будущий Писатель Пе, выпил полкружки спирта, запил водой, заел хлебом с консервами, расхрабрился и еще налил. Его дружки-приятели, я в том числе, стояли наготове с водой. Пе плотнул закипающий на языке спирт, схватил, не глядя, кружку, но в кружке той была не вода, но опять же спирт.

Дыхание Пе остановилось. Глаза вылезли. Их выдавливали изнутри коленом. В голову сунули раскаленный камень. Кожу исхлестали хлыстом. Облили чем-то неароматным.

Пе закружил по полю, сжимая бутылку слабыми пальцами. Он материл всех нас в ритме вальса. В «Каприни» он плюнул, но не попал. Один солдат рядом пожелал попасть в «Каприни» струей, но струю отнесло ветром на нас.

Аве, Мария!

Потом Пе отглотнул из бутылки еще глоток, уже весело и бесшабашно, и упал в воронку, мягкую, как илистый берег, – от пашни шел запах талой воды, – поднялся на локте, ласково оглядел поле, вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул, похожий на шварку в ржаном тесте. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом.

Некоторые его товарищи, я в том числе, еще боролись с вращением планеты, но в основном уже спали, свернувшись калачиком в черных воронках. И никто не обращал никакого внимания на «макаронников», которые все закладывали виражи и бросали с небес свои бомбочки. Летчики, наверно, сфотографировали павших противников и, наверно, получили за храбрость и меткость при бомбометании итальянские медали.

Когда солдаты проснулись, суглинок, высохший на щеках, так стянул кожу, что нижние веки вывернулись и все они казались бешеными.

А на следующий день мы лежали в передовом окопе под дождичком, хоть и бисерным, но весьма мокрым. Такое впечатление было, что он падал не с небес, а зарождался прямо над нами.

Чтобы вода со дна окопа не заливалась за шиворот, под голову я подсунул толстый кусок дернины.

И говорю:

– Спишь, Пе? А у меня задница так намокла и набухла, что, полагаю, стала белой и рыхлой, как рыбе брюхо. Полагаю, на ней можно сеять табак.

– Почему именно табак? Почему не сорго?

– Потому что курить хочется.

– Ты и мою и свою махорку выкурил – сдохнешь. Посмотри, бабочка под дождем. Ты когда-нибудь видел бабочку под дождем?

Бабочка порхала над бруствером, хотела сесть на землю, но земля была водой. Бабочка снова вздымалась. И снова садилась. И снова вздымалась. Но вот она нырнула в окоп, прицепилась под нешироким земляным карнизом и медленно, даже величественно, сложила крылья.

Писатель Пе сказал:

– Очаровательно.

Рядом с ним, втянув голову в воротник, унылый и многомудрый, сидел сержант Парин, старший группы. Мы должны были идти в тыл к румынам взрывать мост. Взорвали. Потом командование задавить хотело того, кто взорвал. Очень нужный был мост.

Не ломайте мосты, не взрывайте их, не бомбите – берегите, как храмы!

Вот Парин и говорит:

– Ну народ – сейчас в тыл идти, а они кто про задницу, кто про бабочек под дождем. Если говорить о чем, то о девках. Это самая главная тема войны – главнее математики.

– Извините нас, – ответил Парину Пе.

Он вообще извиняться любил. И сейчас считает извинение в числе главных средств налаживания коммуникации.

Сержант Парин погиб под Люблином, умер у Писателя Пе на руках. После Парина я принял машину.

Как-то мы с Писателем заночевали в немецком городке, еще не занятом нашими частями. В разведку мы ходили вчетвером, но двое ребят, не разделявших нашу любовь к губительно мягким немецким перинам, потопали по снежку в бригаду с донесением, что в городе частей противника нет и фольксштurm не наличествует. Рассчитывали они и на жаренную со свиной картошку. Ротный повар у нас был артист – пел и всегда жарил картошку для себя, для командира роты и для разведчиков, обещавших вернуться. Повар любил смотреть, как разведчики «кушают», и все расспрашивал и выводывал: подходы, подъезды, где что и что как. Случайно в котле кухни мы обнаружили восемь штук шелка. Нужно отдать повару должное – шелк он припас для барышень нашего банно-прачечного отряда. Он роздал шелк при нас и все улыбался и шаркал ногой, как народный артист Ильинский.

Мы с Писателем Пе не первый раз ночевали в городах, еще не взятых. Танки – оружие для войны днем. Фаустпатрон – такая удобная и простая штука, – мальчишкам под силу и девушкам. Танк беспомощен в городе с узкими улицами, тесными перекрестками, низкими крышами.

В город, где нет противника, танки входят колонной с рассветом.

Тут мы с Писателем Пе их и поджидали с усталым видом: мол, не сомкнули глаз – все бдели. А как же иначе...

В тот раз даже замок в дверях ковырять не пришлось: хозяйева спустились в подвал, позабыли его замкнуть. Мы пожевали на кухне курятину. У немца всегда вареная курятина в стеклянных банках на крайний случай – жили они голодно. Но ведь мы и есть крайний случай.

После курятины мы в спальню. Луна, снег и звезды освещение дают – крупное все разглядеть можно. Широкая кровать, подходы к ней с двух сторон, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный стол с зеркалом. Различаем, хоть и темно все же, – что-то розовое в мелкий горошек. Может, сиреневое. Может, даже голубоватенькое...

Нам, выходцам из коммунальных квартир, все эти оттенки в немецких спальнях казались чем-то греховно и непростительно буржуйским.

Залезли мы под перину, не снимая покрывала, чтобы кровать все же не казалась такой разоренной. Конечно, в башмаках и обмотках. Конечно, с автоматами – тут уж, грехи не грехи, – война.

Сверху перина. Снизу перина. Спим, как зародыши. Впрочем, у разведчика сон как бы марлевый – вроде еще спишь и вроде уже проснулся.

И вот я понимаю, что мне на ноги кто-то садится, как на свое...

Я тоже сел, автомат наготове. Писатель Пе из перины торчит, готовый чуть что стрелять. А у меня на ногах женщина. По силуэту – пожилая. Это ее кровать. Она на ней ребят своих зачала, и, наверно, воют ее ребята где-то незнамо где – тоже солдаты. А может быть, уже не воют. Наверно, она пришла взять что-то из тумбочки.

Писатель Пе говорит ей:

– Пардон, мадам. Извините, пожалуйста.

«Пардон, мадам» – понимают все.

Руки ее взлетают к лицу и вперед, словно она хочет нас оттолкнуть. Еще бы! Город ожидал русских. Откуда угодно. На чем угодно – на ослах, на верблюдах. Но не из ее любимой старинной кровати. И она рухнула. Без крика, без стопа.

Мы поправили перины, положили женщину на кровать, рассчитывая, что, очнувшись, она примет все за мгновенный кошмарный сон, за причуду уставших от страха нервов.

До утра дремали мы в пустой пивной при въезде в город. Ее хозяин предусмотрительно оставил двери незапертыми, чтобы русские их не сорвали с петель.

– Пе, – говорил я, – если бы ты свое «извините, пожалуйста» не произнес, может, она и не рухнула бы. «Извините, пожалуйста» несовместимо с войной. Лучше бы ты «хенде хох!» крикнул. Старуха потеряла сознание не от страха – от абсурдности ситуации.

В другой раз, ночуя в еще не занятом нами немецком городке, мы положили под подушку будильник – танки должны были пойти в шесть.

Когда будильник зазвенел и мы, моргая, уселись в перины, в комнате было темно и холодно. Трое фолькштурмовцев устраивались у окна с фаустиками и пулеметом. Они только что вошли. И мы, в общем-то, не смогли бы сказать с уверенностью, что разбудило нас, их приход или будильник. Наверно, будильник треском своим перекрыл пробудившее нас чувство опасности.

Все дальнейшее зависело от квалификации. Мы хоть и спали, но в ритме войны. Фолькштурмовцы, озябшие от безнадежности, засуетились. Винтовки они поставили к стене, и каждый пожелал взять непременно свою.

Лица их были серо-зелеными, как их эрзац-мыло.

Уходя, мы долго ополаскивали лицо и руки. Вытирались чистыми махровыми полотенцами, пахнущими лавандой. И, надев шинели, застегнули их на все крючки.

В небе солнце белого золота. Каждый лист в парке узорчат. Лужайки свежи. И вдоль дорожек мраморные девы с нежными припухлостями – в ожидании Пигмалиона.

Бронетранспортер, ощеренный стволами, подкатил наконец обратно, к дворцу Сан-Суси. Дворец был удивителен своей пустотой – отмытый солнцем от наростов живописи, гобеленов и портьер. Нам захотелось пройти по нему еще раз, уже не торопясь.

У дверей стоял ефрейтор в новенькой зеленой фуражке с новехонькой самозарядной винтовкой Токарева. К стволу примкнут штык-кинжал. Рожа у ефрейтора наглая, стоечка хозяйская, как у осодмиловца на танцплощадке.

– Вот это хват, – сказал упрямо-медленный Егор. Перевалялся через борт и подошел к ефрейтору. Тот штык перед собой выставил. И так это невежливо Егору:

– Назад!

– Сразу и назад. Мы победители, желаем дворец осмотреть. Ты глянь-ка, глянь, какое небо – это же куст сирени, его Господь нюхает.

– Сказано, назад! Капитана позову. Вы уже осматривали.

– Осматривали один раз. А ты, значит, за нами потихоньку по-за кусточками. На полусогнутых воюешь? Сохраняешь себя для крематория?

– Иди – стрелять буду!

– Стрельнешь – они тебя в эту дверь вколотят по крошечкам, по атомам. – Егор кивнул на нас. – Похоже, тебя мама от злости родила.

Ефрейтор сглотнул, прижался спиной к дверям, он понимал, что превысь он какой-то допустимый в его положении уровень хамства – и его действительно в дверь вколотят. А вот Егор не понимал – что же такое случилось? Почему этот ефрейтор перед ним не трепещет? Не восторгается? Не предлагает закурить? Не читит?

– А по соплям? – сказал ефрейтору Егор.

– Под трибунал пойдешь.

– Да там же ничего нет, во дворце! Что ты охраняешь, ублюдок?

– Под трибунал пойдешь, – повторил ефрейтор, в голосе его уже вызревал визг. Сейчас он выстрелит. Не в Егора – в воздух. Прибежит начальник караула. Мы, конечно, уедем. Но не хотелось. Нам было обидно.

Мы, конечно, были герои. Мы даже понимали что-то, хотя у героев с пониманием туго, – чувствовали, что у такого вот ефрейтора мы, кроме злобы, других чувств не вызываем, что этого кота войны, такого гладкого от сала, сливок, девок, подкармливают и дрессируют на нас, как на мышей, а мы стоим под подозрением, под приказом об усилении дисциплины в армии вплоть до расстрела. Мы уже были лишними на войне. Какая там разведка? Зачем? Рвущийся к победному майскому дню фронт с маршалами, генералами, героями уже накрывала волна тылов – специалистов, экономистов, искусствоведов, прокуроров, комендантов и конвойных рот.

Егор психанул вдруг:

– Пустоту охраняешь, сука! А если я вот этой мраморной Диане да по титькам?

– Валяй. – Ефрейтор осмелел снова, заблестел рожей. – Я двери охраняю во дворец. А статуи хоть разнеси. Мне они тьфу. Вы их катком. Во захрустят.

У бронетранспортера перед радиатором каток, чтобы можно было столкнуть и смять что-то, мешающее на пути.

Егор пистолет выхватил из-за пазухи.

– Нас сюда посылали, чтобы мы тут ни-ни, не зашибли, не повредили. Искусство! Не дай бог! А ты, гниль. Дерьмо собачье. – Егор навел пистолет на мраморную деву. – Я ее, курву Афродиту. Я, значит, воюю, а эти суки по кусточкам – и медаль.

Я выкатился из машины, прыгнул Егору на спину. Он долбанул меня локтем в солнечное сплетение так, что я скорчился под кустом барбариса. Ребята, показалось мне, были на стороне Егора, даже будущий Писатель Пе, интеллигент паршивый.

– Не будь свиньей, – сказал я Егору, икая и пуская слюну, он разбил мне живот, как пустой грецкий орех. – Другие тоже хотят.

– Чего хотят?

– Стрельнуть в нимфу.

– Пускай стреляют. Вон их тут сколько. Курвы.

Шофер Саша помог мне встать. Посетовал, что статуя не бронзовая, на бронзовой дырки можно было бы зачеканить.

Из машины выпрыгнуло все отделение. Парни называли места, в которые желательно было попасть с точностью до миллиметра.

– Они не спрашивали, когда Петергоф жгли. Может, нам тут и нос выколотить нельзя?

Ствол пистолета шарил по мраморному телу Девы. Егор выискивал местечко, куда вогнать пулю.

Наверно, в такие минуты что-то происходит в природе: облака стали темными, небо выцвело, парк с ровно постриженными кустами определился в перспективе, он собирался в одну точку там, за спиной Девы, и в этой точке должен был возникнуть Трактор – бешеная машина. Она бы ворвалась в парк, в тишину, где тяжело дышали мы и, затаив дыхание, стояли мраморные Артемиды. Вон как их много за свежей зеленью постриженных кустов. Торчат их головы. Их руки. Их пальцы почти прозрачные. Их груди – они вмещаются в ладонь... Трактор все сокрушит. Раздавит. Перемолотит. Бешеная машина. Мы были Трактором.

Раздался крик:

– В писю-ю! Бей в писю-ю!..

Кричал ефрейтор. Он пританцовывал у двери. Лицо его блестело от пота, губы были вывернуты. Он шевелил пальцами, похожими на окурки.

Егор прыгнул к нему, выбил у него из рук винтовку ногой, сорвал с головы новенькую зеленую фуражку и фуражкой той, захватив ее изнутри двумя пальцами, с наслаждением защемил ефрейтору нос. Пальцы у Егора были железными. Когда он их разжал, шкуры на ефрейторском носу не было. Из глаз текли слезы, и слова вымолвить он не мог. Егор поднял его винтовку и зашвырнул в кусты.

Уже в машине, когда мы отъехали, Егор сказал мне: «Извини, сержант». Он был постарше нас и за свою холодную отвагу пользовался особым уважением. Он никогда не срывался – психануть мог любой, но не он, – он был спокойно-ленив. Но ефрейтор обжег его душу.

– Вот кусок, – бормотал он. – Вот ведь прыщ на сгибе. И главное, такие прыщи над вами, ребята, будут стоять.

– А над тобой?

– Я на Север подамся.

От дворца послышался выстрел. Это ефрейтор, достав свою самозарядную винтовку из кустов, вызвал начальника караула.

Но мы не прибавили скорости, мы не убегали, мы ехали себе по песочку гордо и несколько расслабленно.

У распахнутых чугунных ворот, ведущих в город, на зеленую безлюдную улицу, стоял кирпичный каретник. К стене его были прислонены высокие плоские ящики. Тут же штабелем лежали доски. И кучи стружек, не столярных, но чистых и ровных – лентообразных.

– Картины, – сказал я, не веря этому слову. Чувство, заполнившее мою душу, было бессилием вынырнувшего из глубокой гиблой воды: эта барабанная дробь сердца, эта флейта отрикошетившего снаряда – это осознание кровью того, что ты жив и удачлив.

Здесь: голубые облака, скирды свежих тополиных листьев над головой – деревья у сарая не стрижены, пряная тень и цветущие темные травы.

Там: парк Сан-Суси – высвеченные солнцем розовые дорожки, широкие и прямые, дворец, акварельно раскрашенный и пустой, как новенький детский садик.

Там: ефрейтор с ошкереженным носом. Там он люто страдает и пускает гадючью слюну – на нестрашных полянах.

Здесь: восторг и ужас гнездятся здесь, за дверью сарая. А вдруг все хлоркой облито и кислотой, и все в куче – узлом, как внутренности животных?..

Мы распахнули дверь – картины стояли плотно, как книги в шкафу, громадные, выше вытянутой руки.

Поскольку у каждого из нас после прицеливания в Афродиту что-то сгорело и в сердце, и в голове, то при виде этих картин наши руки и все прочее: брови, губы, уши – дернулись в противоречащем случаю направлении – мы жалко кривились, улыбались и даже стеснялись, как будто нас пригласили к столу, а мы не умыты.

– Тут же все... Миллионы... – бормотал Егор. – Это же лопни мои глаза. Это же... Зачем, спрашивается, дураку хрустальный рубль? – Последнюю поговорку Егор позволял себе только в минуты крайней растерянности.

Мы трогали холсты руками. Гладили лакированные поверхности, для чего протискивали руки между картин. Мы отчетливо, как стук часов, слышали усталое дыхание судьбы, чувствовали зыбкость и непрочность разума...

Такое солнце. Такой день. Такие стружки, пахнущие сосной!

Мы выдвинули один из шедевров осторожно, покачав его и убедившись, что ничто его не удерживает, не скребет. Картина полыхнула пурпуром, голубым шелком и женским телом. Глаза, затененные ресницами, глядели на нас с пониманием и тоской. Дева, похожая на ту, мраморную, была живой, дождавшейся Пигмалиона.

– А ты, сучонок, стой там, стой! – крикнул Егор. – Стереги пустой дворец. А я вот возьму сейчас закурю и спичку нечаянно уроню в стружки. – Егор вытащил спички.

– Перестань, Егор, – угрюмо предостерег его Писатель Пе. – И без твоих шуток страшно.

– Чего – перестань-то, чего – перестань? Я сейчас могу опозорить всю нашу армию. В другой день я хоть что делай – дурак, скажут. Ну, под суд отдадут. А сейчас... Никто ничего не скажет...

– Заткнись, – сказал я и шевельнул автомат.

– А-а... – протянул он скучно. – Ты, сука, можешь. – Заметив, как все подобралось, приготовились на него прыгать, Егор спрятал спички в карман. – Эх вы, шпана. Я же теоретически. Распирает меня. Вы же не понимаете, что такой случай не каждому выпадает, что сейчас здесь присутствует дядя Бог. Миллионы! Страшенные человеческие судьбы. Национальная гордость фрицев. И я могу все спалить. И себя заодно. И вас. Житуха – она такая затейливая. После Победы уеду в Арктику – не смогу гнить по соседству с трудовой сберегательной кассой. – Егор повернулся ко мне. Он был бледен, лицо его блестело, как полированная кость. – Хорошо, что ты на меня бросился, а не на ту Венеру – заслонить своим телом. Тебе бы я морду набил, а тому сучонку вонючему... Я бы его убил.

Егор слегка расшевелил картины, вытащил из какого-то прощелка между подрамниками узкое, длинное полотно. Его все не оставляла мысль о возникновении узлов судьбы и вплетении в эти узлы чьей-то воли, способной навлечь на людей кошмар. Егор считал, что этой волей сейчас был он. Но то ли Бог, то ли еще кто повлиял на него усмирительно.

«Что человека на острие удерживает? Не говорите, что знаете. Никто не знает. Может быть, бабка моя меня удержала. Я думаю – бабка...» – говорил Егор много позже.

На узком, длинном, метра полтора, полотне был написан вечер, вернее – «Вечер в пустыне», а может быть, «Караван на склоне горы».

Зной оседает как муть. Небо мглистое, хотя и ни единой тучки на нем. И караван верблюдов уходит вдаль. Написана картина прозрачно, в серо-золотистой гамме. Там, где это нужно, понки на верблюдах, тюки – лепными мазочками, как у Вермеера.

Мы прицепили картину к заднему борту транспортера, она поместилась как раз. Двери каретника закрутили на проволоку. И на всякий случай оттащили стружки подальше. Хотел я Егора оставить и Писателя Пе для охраны, но решил почему-то, что пик опасности для картин миновал, теперь они сохранятся.

Ехали молча, и я уверен, что все думали о какой-то давней своей удаче, такой, где они чудесным образом остались в живых. У меня в глазах блесло тихое круглое озеро в лесу под городом Бологое. Молчали птицы, молчали листья деревьев, и что-то необъяснимое и непрочное подплывало мне под ноги.

Может, для этого часа, для этих картин в Сан-Суси я тогда был спасен.

Генерал стоял, окруженный офицерами, все знакомые – наши, один капитан – чужой. Мы развернулись перед командиром бригады с достойной лихостью и подпянулись к нему задним бортом.

Я выскочил из машины, доложил, что задание выполнено. Парк чист. Дворец Сан-Суси пуст. У дальних ворот парка, в каменном каретнике, – картины.

– Там сухие доски и очень много стружек. Случайная спичка, окурочок – и картин не спасти.

Генерал смотрел на уходящий по склону караван.

– Снимите, – сказал он своему адъютанту.

Пока адъютант и Писатель Пе отвязывали картину, я показал на карте каретник. Генерал послал туда полувзвод автоматчиков из роты управления.

– А вы, – сказал он мне, – немедленно отправляйтесь к Люндорфской плотине. Там уже командир вашего взвода.

– Я настаиваю на строгом дисциплинарном взыскании, – возразил чужой капитан. – За хулиганское нападение на часового.

У генерала нашего было спокойное лицо с чуть прищуренными глазами, высокий рост и высокий лоб. Посмотрел генерал на капитанскую фуражку, нам даже показалось, что он имел намерение сбить с этой фуражки паучка или пылинку, но он заложил руки за спину.

– Потерпите, капитан, война скоро кончится, и они отсидят свое; я полагаю, об этом вы похлопочете. Можете идти, капитан... Да, приготовьтесь принять от нас картины по акту. Нужно, знаете ли, работать, а не куражиться у пустых дворцов... А вы что топчетесь, сержант? Задание получили и – бегом!

Я в машину взлетел. Саша-шофер дал газ. Но куда ехать, к какой плотине? Наш командир взвода стоял рядом с нашим генералом, и вид у него был такой, что мы ему как боевая единица совсем не знакомы, – может быть, даже, по его мнению, чересчур экзотичны.

Надо бы встать поперек своего пути. Самому для себя устроить плотину. Чтобы грустная вода памяти поднялась под горло, вскипела и, набрав мощи, привела в движение долота и сверла правды.

Собственно, о ком я в силах рассказать правду? Только о самом себе. Поэтому я не буду писать об атаках и языках – героическое не дает нам возможности быть к себе снисходительными. А без снисхождения к нам, беззаветным, правда станет неправдой.

Да, будучи хоть и озорным, но в высшей степени лояльным школьником-пионером, я выкалывал «козьею ножкой» глаза маршалу Блюхеру и маршалу Тухачевскому на портретах в школьном учебнике. Нынче они, уже не враги народа, поворачивают ко мне со страниц газет и журналов проколотые мною глаза и не видят меня.

Мы ослепили их. Нам не приказывали, мы ослепили их сами, по велению сердца. Нам приказывали заклеить портреты бумажкой. Но сердце наше было свободно от Бога. И сильна была наша воля.

И захотят ли обиженные мною маршалы по прошествии времени иметь там на небе меня рядом с собой?

Или там все слоями – пообидно?

И тогда мой слой те, у кого в здоровом теле крепко держался здоровый дух, кого футбол и мытые уши чаще всего заставляли быть впереди других. Этот слой, наверное, самый мощный, самый обширный. В нем нет ни гениев, ни пророков – известно, дурак дурака ничему хорошему не научит, – так кто же в нем есть?

В нем есть мы.

Бронетранспортер медленно катил по улицам Потсдама, вдоль скверов и трехэтажных домов с парадными дверями, застекленными и заглубленными в стену, с приличными небольшими колоннами серого камня и чистыми необшарпанными ступеньками, ведущими к этим парадным дверям. У дверей на стене, чаще всего серой или темно-бурой, оштукатуренной под дикий известняк, так мне помнится, были прибиты эмалированные квадратики с половинку игровой карты – номера домов. На синем поле белые цифры.

Егор стоял у заднего борта с малокалиберной винтовкой и стрелял по этим номерам. Пульки выкалывали в квадратах эмаль. Было скучно. От скуки мы зябли. И все же когда Егор вложил винтовку в руки Писателя Пе, тот поднялся и прицелился в очередной номер и выстрелил. Нам стало еще скучнее. Писатель Пе мазал и бранился: мол, и трясет сильно, и не шофер, а водило необученное, и не машина, а шарабан.

Саша-шофер рассердился, остановил машину у тротуара.

– А пошел ты, – сказал.

Писатель Пе прицелился в номер, все ждали, что он снова промажет, надо было, чтобы он снова промазал, но он не стал стрелять.

– Музей, – сказал он и выпрыгнул.

Бронетранспортер стоял у трехэтажного особняка с двустворчатыми стеклянными дверями. По обе стороны дверей пилоны с каннелюрами, капители с ионическими загогулинами, над дверями герб, над гербом балкон – и какой-то во всем этом деле амфир, что-то конногвардейское.

А там, за дверями прозрачными, с начищенной медью, в просторном холле, в стеклянных шкафах-витринах экспонаты: роскошные мундиры с эполетами, шнурами, лентами, шлемы с плюмажами, с пиками на макушке, ботфорты и лаковые сапоги с высокими пятками, перчатки, ленты. Блеск золотых пуговиц и золотых позументов, синее и красное, черное и оранжевое, белое и серебряное.

Писатель Пе уже звонил в звонок. Тут же толпились все: Егор и Анатолий, Шалапин, Паша Сливуха и я. Шофер Саша из машины не вылез.

– С одного музея мы уже схлопотали, – сказал он мрачно.

На звонок в холле появился старикашка с усохшей грудью и острыми плечиками – лысый и оттого ушастый. Выражение глаз его было настороженным, но не пугливым. Он был похож на старого лакея, который видел всяких господ, знает цену подкупу, шампанскому и благородным дамам. Был он в оттянутой на локтях вязаной бежевой кофте, толстых твидовых брюках, в толстой несвежей трикотажной исподней рубаше с начесом. Он застегнул кофту, чтобы рубаша из-под нее не выглядывала. И открыл дверь. А рубаша все равно высывалась, и тонкая сморщенная птичья шея свободно проворачивалась в ее горловине.

Старик спросил, чего мы хотим. А Писатель Пе с подхалимской улыбочкой ответил ему:

– Музеум. Желаем посетить. Вен ман канн. Мы только что из Сан-Суси. Зер гут. Прекрасно. Шон.

Старик насупился, глаза его глубоко ушли под седые брови, он сделался похожим на старую, потерявшую память дворнягу или на сыча, упрямого и тупого; потом он вдруг закивал

– «Музеум. Музеум...» – на его лице написалась какая-то блеснувшая ему надежда и некая хитровая важность.

– Гешлоссен. Шлосс. – Старик попытался вежливо закрыть дверь, но Писатель Пе обнял его за плечи и внес в вестибюль, готовый, если надо, пол подмести.

– Верцайхунг, герр папаша. Мы интеллигентные люди.

Пять хищных рож сияли за его спиной.

– Шлос-с, – шипел старикашка, вяло шевелясь в объятиях Писателя Пе. Наверно, от нехватки воздуха голос его ослабел.

Тут вмешался Паша Сливуха. Отнял старикашку от Писателя Пе, кофту на нем поправил и взял разговор на себя. Когда Паша Сливуха вдохновлялся, он мог даже немного поговорить по-немецки. В сельской школе в Рязанской губернии он считался очень способным к языкам и математике.

– Не бойся, папаша, вир аккуратен. Хенде ниht немен.

Паша запер входную дверь, дав тем самым понять старикашке, что других славян, мало ли их тут будет шляться, он не допустит – только мы, интеллигентные люди, способные на причастность к духовным ценностям. Перед Пашиным внутренним взором полыхала пурпуром Дева с той громадной картины, спрятанной в каретном сарае, уходил караван, увозил бирюзу, улыбалась избежавшая злой пули мраморная Диана с нежной грудью, легко умещавшейся в его ладонь.

Старичок кашлял.

Мундиры в витринах были красивы. Шлемы парадны. Сапоги начищены. От всего этого так и веяло кайзером и Мендельсоном. Одежда генералов всегда немножко для дам. И древние бравые полководческие выкрики, наверное, были похожи на «ку-ка-ре-ку!».

В воздухе стоял запах свечи и сердечных капель.

На стенах в холле висели картины в золотых багетах – битвы и натюрморты со съестным припасом: дичью, фруктами и овощами.

По второму этажу холл опоясывала колоннада. На потолке цвета снега висела сердитая люстра.

Мы шли по широкой мраморной лестнице тесным клином. Впереди Писатель Пе, как самый из нас просвещенный.

Наверно, не туда мы шли – старичок прокашлялся, наконец суетливо забежал вперед, раскинул руки крестом и запаниковал, борясь с одышкой.

– Найн! Шлосс! Верботен! Хальт! – выкрикивал он.

– Вир аккуратен, – терпеливо возражал ему Паша. – Хенде ниht немен. – Паша готов был помочь старичку почистить картофель, выколотить ковер, вбить, если надо, гвоздь в стену – у Паши чесались тимуровские прививки. Он похлопал старичка по плечу и открыл первую от лестницы белую с виньетками дверь. За ней была спальня с неприбранной кроватью. Стоял тот же запах сердечных капель. Мы переглянулись. Но и тогда еще ничего не поняли.

А старичок мышкой забежал в следующую комнату с такими же молочно-белыми высокими дверями. И оставил двери открытыми.

Это был кабинет. Большой. Светлый. Строгий.

Когда мы, оробев, втянулись в него, старик сидел за письменным столом. Кулаком правой руки он опирался на колено, левую вытянул вдоль стола к лампе, отчего левое его плечо поднялось и круглая голова оказалась как бы на склоне гипотенузы – вот-вот покатится. Лицо его было поспешно гордым. Глаза окаймлены красными веками. И от этих красных век по щекам разбежались красные трещинки. Он был очень стар, но морщины не обезображивали его, к тому же по природе он, наверно, был смешливым.

И вот что – он не был жалок.

Он был потрясающе монументален в теплой исподней рубахе, окончательно овладевшей его воинственной шеей. На лысине у него темнело родимое пятно, как пупок, отчего голова делалась похожей на детский животик.

О господи, прости нас за грехи наши, но деда этого мы разглядывали сквозь влажную призму какой-то бессознательной, но безусловной симпатии.

На столе, большом, темного золотистого клена, под настольной лампой с золоченой ампириной подставкой и гофрированным абажуром из плотной мраморной бумаги, похожей на пергамент, стояла серебряная рамка и в ней портрет – рьяный кайзеровский генерал, усатый, с круглыми глазами, в шлеме с плюмажем.

Мы переводили взгляд с портрета на старика – это был он. Безусловно, он – реликт, хвощ, тираннозавр...

На стенах висели картины в багетах – баталии, пейзажи с руинами и впечатляющий портрет старика, тогда еще молодого генерала. На портрете он стоял ровно, без намека на малейшую вольность, стиснув колени и прижав локти к бокам, как на Большом Смотру перед кайзером.

Сейчас старикашка напоминал гимназиста, гримасничающего перед зеркалом в безнадежном порыве стать на минуточку отцом нации. От напряжения у старика вздулись вены на шее и на висках. Это его «ку-ка-ре-ку!» могло плохо кончиться. Все мы молчали.

Паша Сливуха вздыхал.

Вдруг он пошевелил старика за руку.

– Эх, гроссфатер. Найн зерсторен унзер херц. Гляйх шпрехен зофорт: «Их бин генераль-аншеф». А мы что? Мы вам митфухлен.

Что-то в старом генерале надломилось. Он упал грудью на стол, вытянул перед собой руки, сухими кулачками ударил по блестящему дереву. Паша Сливуха очень душевно погладил его по голове. Острые лопатки старика, как обломанные надкрылья, шевельнулись под вязаной кофтой.

И я, и Писатель Пе подумали об одном – о женщине, упавшей в обморок возле своей кровати, из которой мы вылезли, как из броневика. Но ей было легче, она могла, очнувшись, списать нас как галлюцинацию – болезнь измученного страхом мозга. У старика такой возможности не было...

Наверно, все же надо было бы ему надеть добротный костюм – на роль истопника он не годился, на роль шута – тем более. Но не было противника, равного ему по чину, он это предвидел, – не перед кем было шпагу ломать. А вот комедию...

Он застонал, заколотил кулачками по столешнице.

Мы вытолкали из кабинета. Но не ушли.

Егор и Анатолий на балкон вылезли, дверь туда была приоткрыта для воздуха. Писатель Пе исчез – наверно, наткнулся на грампластинки, отыскал Розиту Сирано. Шаляпин брякал на рояле собачий вальс. Паша Сливуха появился откуда-то взъерошенный, поманил меня в короткий коридорчик на задней стороне особняка.

Окна тут выходили в сад. Я думал, он кухню нашел с чем-нибудь вкусным, но он открыл незаметную среди прочих дверь.

Это была большая кладовка, снизу доверху набитая добротными кожаными сундуками и чемоданами. Ясное дело – хозяин в свое время много воевал и путешествовал, может быть даже в Африке.

– Ну и что? – спросил я.

– А то – почему он свою амуницию не покла в сундуки, а выставил ее на обозрение? Почему не смылся перед нашим приходом?

– Старый потому что. Никому не нужный.

– Нет, он дает понять, что он чихал как на Гитлера, так и на нас. Это его такой надменный сарказм. Недаром он генерал-аншеф.

– Почему ты думаешь, что аншеф?

– А может, генерал-фельдмаршал...

Но тут слышалось:

– Комм, фрау, комм...

Мы с Пашей выскочили на галерею.

Ходоком у нас был Шаляпин. Но он играл собачий вальс.

Писатель Пе откуда-то с третьего этажа вел за руку женщину лет пятидесяти – может, генеральскую дочку, а может быть, генеральскую экономку, но очень важную.

Она шла сдаваться величественно и надменно.

Писатель Пе подвел ее к кабинету.

– Герр генераль весьма кранк. Паша, скажи ей, что у ее аншефа может случиться кровоизлияние в мозг. Ферштейн? – спросил Писатель у важной дамы. – Герр генераль ер бин гресе кранк. – Писатель Пе считался у нас знатоком медицины. Он роды принимал у коровы. На Украине. Литр самогона заработал.

Больше в генеральском доме нам делать было нечего. Мы попросили фрау, чтобы она за нами закрыла, и посоветовали ей либо занавесить двери шторой, либо убрать мундиры из витрин – эта отчаянная наглость старику уже не по годам и не по здоровью. Да и промашка в замысле – у наших солдат любознательность превалирует над почтительностью.

Она кивала, то ли улыбаясь нам напудренными щеками, то ли презирая. Что ж, она старика знала хорошо – ей было виднее.

У бронетранспортера мы нос к носу столкнулись с капитаном, желавшим нас засадить. Он обшарил нас взглядом – не тащим ли мы из этого особняка что-нибудь. Тогда бы он нас скрутил за мародерство – шкуры с носа ефрейтора для нашего ареста все же было, как ни верти, маловато. Потом капитан подошел к дверям.

– Музей! – сказал он удивленно. – Везет вам на музей.

А мы ему сказали:

– Это не музей, капитан. В этом доме наш знакомый генерал-фельдмаршал проживает, старинный заслуженный антифашист. Вы уж пригляните за стариком, не сочтите за труд. Сердце у генерала-фельдмаршала от радостной встречи с нами частит. Мы на вас надеемся, капитан.

Комендантские капитаны любят хвататься за пистолет, но этот был все же умный. Он сказал даже не очень зло:

– Доберусь я до вас. Наглецы.

А там наверху, в кабинете, перед своим блистательным портретом умирал старик. Сам виноват, не нужно было даже в мелком лукавить. Надо было встретить нас в самом красивом парадном мундире и в шлеме с плюмажем. Мы представили себе старика – в красно-синем, с золотыми пуговками. Вот он спускается по мраморной лестнице. Останавливается на середине... И переламывает шпагу о колено. Можно было бы ее подпилить предварительно. А важная дама несет нам всем на серебряном подносе кофе. Мы говорим: «Зер гут. Гитлер капут».

И все-таки интересное дело – выбор врага. Для капитана врагами были, конечно, мы, причем уже давно, и, как враги, вызывали в нем самую сильную страсть – немцев он готов был любить. Он станет их благодетелем и в конце концов почетным гражданином города Потсдама и окрестностей. Для нас же врагами были не он и не его дурак-ефрейтор – мы о нем уже и позабыли, – у нас был впереди Берлин и многое другое. Впереди были мы сами.

О Мария, я понимаю, что не смог насытить ваше любопытство к неопрятному. Вот если бы мы изнасиловали важную напудренную даму! А умирающий старик – кому он нынче нужен?

Он нужен мне.

Когда мне в руки попадает школьная «козья ножка», я думаю о красных полководцах: маршале Блюхере и маршале Тухачевском.

От этих мыслей сдавливает виски. И тогда потсдамский старикан бросается на стол лицом, вытягивает руки и стучит кулачками по лакированной столешнице. Если бы не старческие пигментные пятна, не седые волосы на вздутых венах, его руки могли бы показаться детскими – своей беспомощностью. Такая судьба для красных маршалов была бы во сто крат страшнее.

Они зачтут мне то, что я дошел до Берлина, и встретят меня пускай не с распростертыми объятиями, но и не ослепленные обидой.

Писатель Пе (причудливый каприз, конечно) утверждает, что часто по ночам беседует со старым генерал-аншефом – о странных судьбах немецкого и русского народов, о волхвах, о феях. О том, что Крошка Цахес, один из самых изощренно современных персонажей, не вылутился из недр общественного сознания, как из фольклорно-инкубаторского яйца: Гофман был милосерден к людям – Крошку следует понимать как злой туман, поднимающийся по воле фей, на стыке романтического и меркантильного.

Вы же, Мария, требуете разоблачения волхвов, срывания покровов и упразднения непорочного зачатия, прекрасной выдумки зороастрийцев. Непорочное зачатие, Мария, как предприятие вне греха, вне войны и вне корысти, как предприятие, замысленное исключительно во имя грядущей Девы и грядущих знамен любви, более не ритуально – оно насущная необходимость всех.

Путеец поднял дочь. Прижал к груди. Постоял в растерянности, даже в смущении. Из его горла вырвался хрип, он сказал нам что-то, скорее всего: «Извините», притиснул девочку к себе, вскрикнул: «Господи!» – и пошел обратно в Дубцы, все убыстряя и убыстряя шаг.

Женщины глядели в центр круга, где только что лежало тело девочки, но вот их ситцевый веночек смешался; плача, они сошли с пути: на ржавых шпалах, на щебне, среди пятен мазута алела кровь.

Потом я видел много крови, но никогда она не была такой акварельной.

Женщины шли чередой. Впереди молодая, с головой, похожей на осенний осиновый веник, и две ее большеглазые дочки. Позади всех, чуть приотстав, шагал я. Убитая девочка закрывала мои глаза ладонками, как совсем недавно еще закрывала отцу...

Но надежда сноровиста и живуча. Она пробилась в сознание словом «переправа»! Ну взорвали мост, разбомбили, победим – отстроим. Широкий и легкий, как лезвие бритвы. А на это время наладят переправу: буксир, баржу или речной пассажирский пароход, Волхов – река судоходная.

Мне представились молчаливые пожилые саперы, свайный пирс из тесаных желтых сосен. Саперы курят махорку. Лицо, шея, мысок на груди, кисти рук у них цвета хорошо копченых колбас, а вот лоб, плечи, руки – белые. Когда они моются, это видно. Острые топоры они заворачивают в вафельные полотенца.

Саперов не было.

Переправы не было.

Полувоенный и его сын-крепьш отчерпывали воду из полузатопленной зеленой лодки, принадлежавшей, наверно, смотрителю моста или обходчику – в ней лежали весла и форменная железнодорожная фуражка.

– Нас возьмите! – Женщины полезли в лодку и совсем ее утопили бы, но полувоенный сказал резко:

– Нельзя, гражданки! Лодка течет. – Он был хмур и правдив. – Сначала мы вдвоем переправимся на ту сторону – Вова без усталости будет отчерпывать. Я достану там хорошую лодку,

большую. Найду добровольцев на весла; может быть, даже катер. Переправим всех. Не волнуйтесь, гражданки, потерпите еще час-полтора.

Женщина с осиновым веником на голове долго глядела на тот берег. Дочки ее скинули сандалии, зашли в воду, и война отступила от них. Сначала они взялись брызгаться, потом сняли платья и поплыли – по дну руками.

Переправится полувоенный – за нами катер пришлют. Два катера!..

– Сына оставил бы, – сказала полувоенному женщина-веник. – Может, он уже там...

Ее поняли все, даже дети. Девочки вылезли из воды, схватили свои платья и сандалии.

– Что это вы? – с тревогой и возмущением сказал полувоенный. – Этого не может быть. Что это вы?.. – Он взгляделся в тот берег: глухие черные крыши, березы, снова крыши, тополя, как зеленые горы, и опять крыши. – Мы переправимся. Вова будет отчерпывать... – Полувоенный провел лодку по мелководью, прыгнул в нее, расставил белые икрастые ноги и навалился на весла.

Мы смотрели, как они удаляются, как поклевывают лодку, пронзают ее насквозь солнечные ножи.

Посередине реки, в светлых нестрашных брызгах, без огня и грохота, лодка исчезла. Немцы вколотили в нее снаряд резко, как гвоздь в мокрую доску.

Женщины подхватили ребяташек, бросились от кромки берега в кусты.

Тихо стало. Так тихо бывает в зной. Солнечная метла запахла реку, и снова – нет горя.

Мы ждали: может быть, выплывет полувоенный, может быть, его сын-крепыш. Когда поняли, что никто здесь не выплывет – течением отнесет, чувство вины охватило нас всех, будто мы подтолкнули полувоенного, поторопили.

Женщины вдруг уставились на меня. Дыхание мое прекратилось, как в перетопленной бане.

– Возвращайтесь в Окуловку, – сказал я. – Оттуда на Кириши. Там, наверно, поезда идут. А я вниз по реке. Вам с ребятами не пройти, да и кто знает, что там...

Еще полчаса назад женщины, полные решимости и боевого духа, не стали бы меня слушать, даже смотреть не стали бы, но сейчас разум их повернулся в сторону реальности и здравого смысла. Кто-то попросил меня, если дойду, позвонить мужу. Другие тоже забеспокоились. Нашлась тетрадка, карандаш. Я записал телефоны и адреса. И они потянулись назад к Дубцам, вдруг уставшие и разобщенные. Осталась только «веник» с дочками.

– Мы с тобой, – сказала она. Ее дочки подошли ко мне, взяли за руки и строго, как младшие сестры, на меня посмотрели.

Мне стало неловко даже думать об их матери как о «венике». Но худа она была, и желтые волосы дыбом, хотя, я это уже понимал, не лишена женственности и привлекательности.

– Как вашу маму зовут? – спросил я девочек.

– Наталья.

В моде тогда были Ната и Тата. Наталья – звучало, как если бы Анну назвали Нюрка.

– Может, лучше «Наташа»?

– Не лучше. Она «Наташа» не любит. Так ее ейный муж называл. Она его ненавидит. «Наталья» – чего тебе не нравится.

– Наталья Сергеевна, – сказала «веник» с ухмылкой.

Это меня устроило.

– Пошли, – сказал я. – Наталья Сергеевна, вы себе отдаете отчет?

– Я никому отчетов не отдаю, даже себе, – сказала она.

Мы пошли. Девочки впереди, вприскок. За ними Наталья Сергеевна. И, поотстав, я. Насвистывая.

Поселок вниз по реке назывался Волховская пристань.

На улице никого. И на самой пристани никого. И никаких пароходов.

Старик высунулся из будки. Сказал:

– Ушли пароходы – все уплыли...

Я сел на скамейку лицом к мосту. Его не было видно. Но я видел. Он был нарисован на небе – многоарочный и бесконечный.

Я любил мосты. Я верил в них. Верил в звезду, в слово, но больше всего в мосты. Мост для меня был главным знаком. Мне даже во сне мосты снились и снятся сейчас. Но особенно в детстве. Они вели меня в какой-то чудесный город, пропахший морем. Мне туда и сейчас очень хочется.

Мосты! Величественный Пон-дю-Гар, виадук Гарби, мосты через залив Ферг-оф-Форт, мосты Хокуся, мосты Марке, мосты деревянные, деревенские, над которыми неподвижно висят стрекозы.

Потом я взрывал мосты, и всегда у меня перехватывало дыхание, когда разламывалась сталь, ферма с хрустом, даже как бы со стоном, опускалась в воду. Это как человек, убитый у реки, – голова в воде, а ноги на берегу – это как бы двойная смерть.

До вечера я просидел на пристани. Наталья Сергеевна с дочками пошла разузнать «о возможностях транспорта» – так она выразилась.

Пришли ее дочки, принесли хлеба, соли, луку. Посидели рядом, повздыхали, как вдовы, и проскрипели:

– Лодку воровать будешь.

Они заглянули мне в глаза, прикоснувшись лбом к моему лбу, как кошки. Что они увидели в моих глазах – не знаю, но в их глазах была тайна, тайна полного детского доверия.

Кроме мостов, я люблю довоенных детей и довоенный хлеб. Детей я тогда воспринимал сердцем – контактно. А хлеб просто-напросто до войны был вкуснее.

Девочек звали Аля и Гуля. Они мне открылись: мол, Аля – по-настоящему Ариадна, а Гуля – Евдокия.

Лодок было много, они соприкасались друг с другом, стукались друг о друга и будто тянулись острыми мордами к кормящей руке.

Когда сумерки загустели, я отвязал лодку, единственную, в которой валялось весло – рулевое, небрежно вытесанное из доски, но с достаточно длинным веретеном.

Наталья Сергеевна пришла еще засветло с большой ношей сена, перевязанной ее пояском.

Навалив сена в лодку и разровняв, она с дочками легла в нос. «Подвергать девочек такому риску она не имела права» – я так думал и поглядывал на нее свирепо. Но она вроде не замечала моих взглядов, была спокойна и углублена в себя.

Я вытолкнул лодку в течение. Мне показалось, что на берегу в тени будки стоит старик. Наверно, это была его лодка.

Я не опасался, что нас прибьет к занятому немцами берегу, река здесь плавно изгибалась, я боялся, что, безвольно плывущих, нас занесет в камыши, туда же, куда вынесло полувоенного и его сына. Может, они изранены осколками и от потери крови не могут выбраться на берег? А может быть, выбрались? Скорее всего, выбрались. Почему они должны утонуть – снаряд развалил лодку, их мог и не задеть.

Но что-то говорило мне: дурак, правде надо смотреть в лицо.

А какая она сейчас, правда? А какое у нее сейчас лицо?

А лицо ее – надежда.

Я тогда так думал.

То, что я лодку украл, меня не тревожило. До той поры, пока я не написал этой фразы, я с уверенностью мог сказать, что в жизни ничего не украл. Теперь поправочка выйдет – я

украдкой, для кого-то, скажем для старика-сторожа, может быть единственное, что в ту пору имело реальную цену.

За бортом шуршала волна, она катила быстрее лодки. Звезд на небе было много. Беззвучно трепетали августовские зарницы. На реке что-то ухало – на реке всегда что-то ухаает. Сенном пахло и смолой. Девчонки спали, как два котенка, прижавшись к матери. На левом берегу нет-нет да постреливали. Иногда пулемет вскидывался, как дурной пес.

У Натальи Сергеевны юбка сзади задралась, белели ее ноги. В темноте было не разобнять, но, наверное, тощие. Получалось, что я заглядываю ей под юбку. Я принялся отыскивать Полярную звезду, а ее и искать не надо – вот она, и обе Медведицы, и Лира, и Сириус, и Бетельгейзе.

Вскоре я, будь что будет, сел в корму, взял весло.

Весло сразу ударило в черную массу, я вздрогнул – может, полувоенный? Но то был труп лошади. Зарница осветила реку. Впереди плыл еще один труп и еще... Мне казалось, что рядом с конями плывут телеги. И мокрые гимнастерки вздулись на спинах возниц, навсегда окунувших лицо в воду.

Сколько времени мы плыли в этом обозе...

И я старательно отводил глаза от ног Натальи Сергеевны.

Утром мы были в Киришах. Спросили ближайший поезд *на Ленинград*. Путьцы кивнули на состав, груженный каменным углем.

Наталья Сергеевна достала из сумки две простыни, закутала в них девчонок. Села рядом в своем платье с короткими рукавами – белом в синий цветочек с черными сердцевинками. Я достал из рюкзака свитер, хоть и бумажный, но толстый. Протянул ей.

– Мог и раньше подумать, – сказала она. С того момента, когда мы вылезли на берег, она то ли улыбалась, то ли форма губ у нее стала ироничная.

– Вы спали.

– Женщину для дела всегда разбудить можно. Это во-первых. Во-вторых, не спала, мне было страшно – за всех нас, за всю Россию.

Я угрюмо вытащил из рюкзака две рубашки, стиранные, но не глаженные, и надел их поверх той, что была на мне.

– Ты прав, капитан. – Наталья Сергеевна раскутала девочек, напялила на них еще по два платья и снова закутала в простыни. Девочек мы посадили между собой, и, не дожидаясь, когда состав тронется, все четверо мирно заснули.

Осмыслить настроение ленинградцев августа сорок первого года – дело весьма нелегкое: город наполняли беженцы, но всем еще верилось в некую быструю блистательную победу – вот остановится фронт на заранее подготовленной позиции и покатит назад. И без остановки прямо в гнусное логово. Первые миллионы погибших уже лежали в земле, но для советских людей верховная совесть была еще ничем не запятнанной бронзой, сверкающей нравственным превосходством войн справедливых над войнами несправедливыми, и атеисты гневались, не понимая, как это Бог терпит такую гниду и сволочь Гитлера.

Сейчас понимание войны прямодушное, античное, – смерть, независимо от фирменного знака на атомных головках.

Атомная зима! Неделя – и весь мир в сосульках. Растаяв, они отравят атмосферу густым зловонием, но никто этого не заметит. Никто не поделится воспоминаниями о розах. И ни Фидий, ни сэр Исаак Ньютон не воскреснут на мертвой земле, ни Эль Греко, ни Себастьян Бах не сойдут с пустых небес.

Первой блокадной зиме так и не воздвигли памятника, даже если отнестись снисходительно к танцующей бронзе Аникушина. Скульптура, живопись тут бессильны. Литература

тоже. Блокада не породила эпоса. Не была сентиментальной. Тогда от чего человек заплачет? Через что поймет? Можно музыкой и поэзией вызвать рыдания, такие очистительные, но не воссоздать бесконечную боль блокады.

И какая-нибудь студентка Мария в своем затянувшемся до сединок подростковом самоутверждении, вильнув бедром, скажет: «Довольно! Хватит! Американец Хайдер голодал полгода. Речи толкал в защиту мира. Они, мол, речи, оказывается, полезные при голодании, как витамин В. Может быть, благодаря речам ленинградцы выжили в блокаду. И памятник пора создать речам».

Ногами бьем чечетку.
В руках пучок газет.
И сердце замирает от кошмара...

Товарищ Сталин, вы большой ученый и даже, извините, вы поэт. Товарищ Берия был тоже не слабак. Лысенко – тоже был ветвистый академик. Все, как один, Герои Соцтруда.

Еще бы выяснить, что же такое соцтруд?

Все это затуманивает мой разум, когда я пытаюсь отыскать в себе цвета блокады, ее звуки – не грязь, не копоть, не стоны и хрипы, а чистые цвета и звуки.

Мы бьем чечетку, делаем шпагат. И все-таки, студентка милая Мария, я вам рекомендую раскапывать дерьмо не для того, чтобы найти дерьмо погуще, но чтобы отыскать хоть что-нибудь святое.

Состав с углем остановился в центре города, у Боровой. Мы соскочили с платформы, сняли девочек и побежали к трамвайной остановке.

Шлагбаумщица, старая женщина, окликнула нас, сдерживая смех, посокрушалась и вынесла из будки чайник с теплой водой: «Девочкам умыть личики». Ткнула Наталью Сергеевну чайником в бок, спросила:

– Ишь, вы трое беленькие, а братишка твой темный?

– Он врожденный урод. Я в папу, а он в соседа. Когда он родился, у меня волосы встали дыбом на всю длину – так и хожу метла метлой. Но он добрый. – Наталья Сергеевна обняла меня за плечи и провела мокрой ладошкой мне по лицу.

– Наверно, в трамвай не пустят, – сказал я.

Шлагбаумщица успокоила:

– Пустят. Сейчас таких, как вы, много. Немец Кингисепп взял. К Гатчине подступил.

Мы молча пошли к трамвайной остановке.

На Невском пересели на «пятерку» – Наталья Сергеевна жила на Большом проспекте Васильевского острова, я – в Гавани.

Я не был в Ленинграде полтора месяца. Город за это время изменился мало. Правда, Гостиный двор пугающе напоминал острог. На других магазинах забранные досками витрины были оклеены плакатами и выглядели повеселее.

Автобусы были редки. Это я заметил – моя мать работала в автобусном парке водителем. С год назад она перешла в таксопарк на Конюшенной площади, но опять-таки водителем автобуса.

На Шестнадцатой линии я помог Наталье Сергеевне с девочками сойти и сам сошел.

– Ну, – говорю.

– Чего? – спросила она.

– Попрощаться. Вы мне обузой не были.

– Приходи, капитан. Дай запишу адрес. Нам с тобой было весело. – Она записала свой адрес в тетрадку под адресами женщин, шагающих в Окуловку. Наверное, они еще идут – с ребятами по шпалам... – Если бы ты нас не взял, мы бы еще знаешь где околачивались?

Она, конечно, издевалась. Как бы это я их не взял? Я мог только от них удрать.

– Представления не имею, где бы мы околачивались – может, уже в плену. Как немец прет – обалдеть. – Послунив платок, Наталья Сергеевна оттерла уголь с моей щеки и поцеловала. – Послушай, капитан, зови меня просто Наталья. Неужели это так трудно?

Аля и Гуля потянулись меня поцеловать, пришлось присесть.

– Приходи, пожалуйста, у нас пушка есть и кинжал черкесский.

Со стороны можно было бы подумать, что я действительно ее братишка – девчонкам дядя Леня. И когда они на меня сердятся, они надувают губы, глядят исподлобья и говорят мне: «Ты нехороший дядька Ленька».

Взгляд со стороны в этом рассказе нужен еще потому, что описание внешности героя всегда получается убедительнее от третьего лица, нежели от первого.

Он был крепким пареньком, еще по-детски длинношеим, с приятной внешностью, какую принято называть интеллигентной. Волосы носил длинные, видимо выдержав большую борьбу с официальным школьным парикмахерским каноном, спортивной модой и представлением матери о гигиене. Мать поливала ему в кухне на голову из чайника и говорила хриплым табачным голосом: «Ты завейся. Я тебе щипцы куплю».

Но старший брат его не порицал. Старший брат тоже носил длинные волосы. Это было у них как заговор, как тайный знак.

Дома никого – ни соседей, ни матери. Коридор пустой и длинный. В коридоре ничего не держали, так было договорено, – и в кухне ничего лишнего. В каждой комнате часы тикают – у каждого жильца свое время – одному в самодеятельность бежать, другому идти в церковь.

Я не успел лица помыть, только грязь размазал, как раздался звонок в дверь. Это была почтальон – тетя Луиза. Она глядела на меня как-то медленно, и тоже медленно и брезгливо кривился ее рот. Она сказала: «Явился» – и подала мне конверт. У нее было их несколько, одинаковых.

Мы, конечно, издевались над ее котом-кастратом Христофором, таким громадным и таким жирным, что, когда он, извиваясь, как гусеница, передвигался, брюхо его волочилось по земле. У него был пушистый прямой хвост. Он был чудовище.

Тети-Луизино брезгливое выражение не было связано с моим отношением к ее коту: все-таки мы ему сострадали, хоть издевались над ним словесно. Он нас не боялся, даже в руки шел – тяжелый, как больной ребенок. Да и не было у тети Луизы выражения брезгливости – она еще не привыкла к этим конвертам и, зная, что в них, не могла не рыдать.

Красивая студентка Мария, отличница и активистка, обвинила Писателя Пе в том, что в его сочинениях часто плачут.

О боже! О Мария! Ваши пальцы, пахнувшие луком, конечно, могут объять необъятное, даже поцарапать его или ущипнуть, но парадигмой слез все же являются слезы Марии-Девы, омочившие лицо Христу.

В жизни нашего с Писателем Пе поколения было так много поводов для слез, что их не спрячешь ни в ирониях, ни в сарказмах, ни в эмалевом небе среди орденов и медалей. Когда нам заявляют, что мы заплатили за победу двадцатью миллионами жизней, то, может быть, пора спросить: но почему так дорого? И слезы бессилия накатятся на глаза – мы заплатили вдвое – втрое – вчетверо, чтобы вернуться к человеческому, не пожелав в конце концов стать ни полубогами, ни получертями.

Сколько себя помню, я никогда не плакал. Это не облегчило мне жизнь, не подняло ее над жижей. Мать утверждала, что я не плакал с рождения и ей приходилось шлепать меня

ладошкой по голому заду, чтобы вызвать слезы. «Ну хоть слезиночку. Я думала, что ты бесчувственный. Ты все равно не плакал, только смотрел на меня удивленно, кряхтел и улыбался».

Я не заплакал и в тот раз, когда прочел похоронку на моего брата Колю. Мне казалось, что это обман, но обманула меня не военная канцелярия, обманул меня Коля – бросил одного и ушел, а он никогда меня не бросал. Он и меня научил не бросать.

Он был всегда впереди, и я шел за ним. Я ему не подражал, это было невозможно, у нас были разные характеры, природа определила нам разные цели. Мы вздымались по разным лестницам, но он был всегда выше. И не потому, что старше, – мое сердце училось у его сердца.

Я спрятал похоронку в свой школьный портфель и вышел на лестницу.

Почтальон с красными глазами спускалась сверху.

– Тетя Луиза, не говорите маме об этом письме, – попросил я.

– Ты его не порвал?

– Нет. Я его спрятал.

– Нехорошо это. – Она посмотрела на меня пристально, и мы оба поняли, что думаем об одном и том же: известие о моей гибели мою мать не сломило бы, но брат Коля...

– Ладно, – сказала тетя Луиза. – Иди умойся.

Я умылся и нажарил картошки. На столе лежали продовольственные карточки и записка от матери – она повезла людей на окопы. Приедет через неделю и снова уедет. По числам выходило – сегодня.

Я могу признаться, что в блокадную зиму чаще вспоминал брата. Брат был ласковее со мной. Наверно, он и был мне матерью, а мать – по распределению ролей – отцом, финансовой силой, дланью, меня наказующей.

Брат был богаче меня родственниками – у него была мать, был я, были отец, три мачехи, третья – прекрасный человек, тетя Валя, и еще братик маленький с фиалковыми глазами и сестричка – совсем крошка, суровая и непреклонно властная. «Гу-у!» – говорила она, когда хотела сказать, что никакой расхлябанности не потерпит.

В ранние годы, в моменты нашей отчаянной бедности, брат брал себе всегда меньший кусок. Я его не понимал, мне думалось – он сам больше и кусок ему следует больше, но все же научился у него, понял, что это так естественно и потому не натужно.

В школе он учился на тройки. Уроков не готовил. Бросал портфель под кровать и уходил куда-то или садился читать. Школьная программа не устраивала его своей линейностью и слабоструйностью. Струйность, тем более слабую, он не признавал. Он обучался сам. Вливал в себя премудрость тазами, ведрами, бочками. Причем в этих тазах и бочках было столько всякого – но очень мало школьного.

И вот он вдруг прославился на весь район как гений математики. Но гением он не был – так он считал.

В шестом классе он подружился с девочкой – девятиклассницей. Стал ходить к ней в гости, беседовал с ней и ее родителями, пел с ними. Я спрашивал ехидно: «Втрескался?» Он пожимал плечами: «Не ощущаю».

Девочка хромала по всем точным наукам, ей нанимали репетиторов, поскольку тройка в их семье считалась отметкой зазорной, как неприличная болезнь. Мой брат взял в библиотеке нужные учебники – в библиотеках его обожали, – проштудировал все по девятому классу включительно, а может быть, с разгону-то и далее. Он так толково объяснял своей подружке и алгебру, и химию, и физику, и тригонометрию, что она, как человек честный-благородный, поведала об этом чуде учительнице. Брат стал в школе звездой. Заведующая учебной частью приглашала инспектора роно и гороно – показывала им феномен. Брат отвечал на их вопросы спокойно и невозмутимо – и получал законные тройки по другим предметам, поскольку материал по истории, литературе, географии воспринимал только через свои умные книжки. Он предлагал взамен уроков поведать педагогам о Шопене и Кьеркегоре.

Физически он не был сильным, но, когда я слишком возгордился своими спортивными достижениями и, этак поводя плечами, стал подтрунивать над некоторыми головоногими, он пригласил меня на крышу нашего шестиэтажного дома и с легкого толчка выжал стойку на жиденьких перилах ограждения – правда, на углу.

Вопрос: когда он успел подготовиться?

Ответ: он знал всегда, что это необходимо, что это время придет, – он был старшим братом.

Я глянул вниз и понял, что он опять вырвался вперед, как стрела, как орловский рысак супротив осла, и дело тут не в стойке. Кстати, стойку на перилах я освоил быстро.

После седьмого класса брат пошел работать – учился он в школе рабочей молодежи.

Чего он не мог, так это рисовать, он рисовал скучно, линии у него были слишком определенными, как линии чертежа. Зато у него был слух прекрасный, а у меня – глухо. И у него был голос, а у меня – вой.

С одной из первых своих получек, а может быть, и с двух первых он купил мне патефон и пластинку «Катюша».

– Других пластинок не покупайте, – сказал он мне. (Брат жил с отцом.) – Если у тебя в голове хоть что-то есть музыкальное, «Катюша» вытащит. Крути, пока не запоешь.

Кто ему подсказал такой метод, не знаю. Другая сторона пластинки была исцарапана, заляпана лаком. Меня он уговорил. Нужно было еще и соседей уговорить. Но соседи его обо-жали.

Я крутил пластинку с утра до ночи. Сначала все соседи пели «Катюшу», потом стали поговаривать, что недурно бы мне оторвать мои бесталанные уши. Но пришел брат, и они согласились потерпеть еще. Я даже ночью пел. Проснусь и пою. Мать говорит:

– Опять бормочешь – не устал?..

– Я не бормочу – я пою.

– Зачем? – спрашивала она и засыпала. Она уставала очень.

И вот однажды я действительно запел. Это заметила соседка. Я жарил блины на кухне и напевал. Соседка делала что-то свое, морщилась от моего пения и вдруг глянула на меня этак странно, странность ее взгляда я отметил, и вышла. А чуть погодя раздались аплодисменты. В дверях кухни собрался весь наличный контингент соседей – все хлопали. Все были рады. Просили повторить. Потом сказали: «Слава богу, „Катюша“ кончилась. Купи пластинку „Рио-Рита“, она легко запоминается».

«Рио-Риту» я запомнил с одного прослушивания.

Мать приехала к вечеру, пропыленная, усталая, но не легла спать – пошла в баню и меня в баню прогнала.

В баню строем шли курсанты школы подплава в белых робах, с вениками под мышкой. Если искать в моих писаниях образ, повторяющийся чаще всего, то, наверное, это матросы с вениками, идущие в баню.

Вечером мы с матерью пили чай с мармеладом. Мать рассказывала, как горели под Шимском бензохранилища. Отблеск этого пламени лежал на ее раскрасневшемся после бани лице. Руки матери были полные, предплечья формы лебяжьей шеи – именно такая форма говорит о мощи. Волосы она убирала в толстую тугую косу. Лоб у нее был прямой, без морщин, короткий прямой нос и властные серые глаза – матери бы родиться мужчиной да пойти служить по военной линии.

– Чего это ты «Катюшу» поешь? – спросила мать вдруг. – От Коли писем нет?

– Нету. Что, я действительно пел «Катюшу»?

– Весь вечер. Ты и сейчас ее поешь. Ты что, не замечаешь?

Я заметил, что легонько подвываю и размахиваю рукой. Я сунул руки под мышки. Заметил, что отбиваю такт ногой. Наступил ногой на ногу.

Мать рассказывала, как взлетали бензохранилища в голубое небо и извивались оттуда рожим дождем, словно продырявилось солнце. Я не слушал ее – я пел «Катюшу».

– У тебя глаза какие-то волчьи, – сказала мать. – Устал?

– Да нет... Прет немец.

– Прет. Еще как прет...

Я думал о брате и о Турке.

В сороковом году брат окончательно вернулся от отца к нам. Поселился в нашей десяти-метровой комнате на одной со мной оттоманке.

Турок был постарше моего брата, он в тот год уходил в армию. На холоде руки и скулы у Турка становились лиловыми, нос белым – это при черных густых бровях и черных как смоль волосах. А глаза светло-серые, льдистые, будто слепые. Весь его род был из Рыбинска.

Обладал Турок страшной бурлацкой силой. Особенно знаменитым был его пушечный удар с правой. Когда он бил пенальти – «пендель», как мы тогда говорили, – вратарь выбегал из ворот.

Ворота были размечены на сараях. От ударов Турка лопались доски, владельцы матерились, бегали за футболистами с колуном, – бить с правой Турку запретили по уговору.

В тот день на поляне – так мы называли двор, где стояли сарай-дровяники, – парни от нечего делать били друг другу пенальти. Турок тоже хотел, но ему не было пары. Мальчишки моего возраста суетились вокруг – может, дадут ударить.

Колю ребята знали, он приезжал к нам часто. Он встал в ворота – взял у Турка всю серию.

– И с правой возьмешь? – спросил Турок, глянув на Колю исподлобья. Он, когда сердился, голову опускал, когда смеялся, опускал еще ниже.

– Возьму, – сказал брат.

Кто-то свистнул, кто-то хихикнул, кто-то сказал: «Дурак». Я схватил круглый камень размером с кружку, сказал Турку, что пусть он лучше поостережется: брат не в курсе – потому и согласился. Но если он, Турок, ударит с правой, я проломлю его турецкую башку булыжником.

– Ты нос подотри, – сказал Турок. – Уговор, понял?

– Не шуми, – сказал мне Коля. – Он не забьет.

– Он убьет, – сказал я. – Турок – сволочь. Он никогда не бьет по воротам – только по вратарю. – И закричал: – Он убийца, садист!

Турок усмехнулся криво. Ему было лестно слышать такое. И парни, и мальчишки чувствовали себя неважно, словно были поднатчиками. Я схватил Колю за ногу, попытался укубить его за икру, но меня оттащили и держали.

Турок поставил мяч. Разбежался.

Коля шагнул вперед.

Турок ударил. Коля взял мяч на грудь. Охнул, упав. Мяч не выкатился у него из рук. Коля сел и долго кашлял.

Я побежал на Турка с камнем. Турок стоял столбом и с некоторым радостным удивлением улыбался своей подлой кривой турецкой улыбкой.

– Ну чего ты, прях, со своим камнем. Ты, прях, посмотри – никто не брал, он взял. – Турок увернулся от брошенного мной булыжника. – Да ты, прях, пойми, шкет, – взял ведь.

Турок, он всегда говорил свое «прях», если говорил много. Он поднял мяч ногой, зажал его под мышкой и пошел, пожимая плечами, тяжелыми, как бы стегаными, приспособленными для переноски тяжестей.

Турок хоть и сволочь, но был прав. Коля взял мяч. И ребята, собравшиеся вокруг, не столько жалели его, сколько радовались и восхищались. Мне тогда было двенадцать, Коле шестнадцать, Турок осенью в армию уходил.

Коля кашлял в платок, и в платке была кровь.

Скрыть кровь от матери не удалось. Легкие у Коли были слабые. Мать, призвав на головы докторов все кары небесные, взялась поднимать его знахарскими способами.

«Ты у меня в армию пойдешь, как все, – кровь с молоком будешь, картинка с плаката».

Она выполнила свое обещание. Кормила Колю маслом с медом, с кагором и алоэ. Поила свекольным соком и отваром красного клевера. Давала ему барсучий жир. Он ел клюкву, лимоны, орехи.

В армию мать проводила его, сияя от гордости, – воротничок у брата был на размер больше кепки. «У меня так, – хвастала мама всем. – Сказала – будет воин, и нате вам, посмотрите – Добрынюшка».

Сейчас мать рассказывала о противотанковых рвах, эскарпах и контрэскарпах, о немецких мотоциклистах и «фокке-вульфах», бомбивших окопников, кружась над ними каруселью. А я думал о том мяче. Если бы этого мяча не было, если бы мне тогда удалось укусить брата за икру по возможности изо всей силы, мать не взялась бы накачивать его здоровьем. Его бы в армию не взяли. Он был рожден для чего-то другого.

«Если бы она знала, что у меня в портфеле лежит, – думал я. – Если бы она знала...»

После войны на углу Детской и Среднегаванской улиц ко мне подошел алкоголик в грязной шинели.

– Молодой человек, дайте три копейки, – сказал он.

Я узнал Турка. Узнал ли он меня? Он улыбался так же криво, как бы скрывая что-то. Был спокоен, даже грустен. Я же побежал по карманам руками, выгреб всю мелочь и рубль бумажкой – больше у меня не было.

Он удивился. Пожал плечами и отошел, пряча деньги в карман. Но уже не было в его плечах той надутости, не было в его как бы стеганой спине тяжелой бурлацкой сутулости. Только лиловые скулы да лиловые кисти рук. И нос, раньше белый от какого-то внутреннего напряжения, теперь был вялым и тоже лиловым.

Утром мы с матерью поехали в таксопарк на Конюшенную площадь. Мать привела меня в прокуренный отдел кадров, где уже договорилась, что меня возьмут автослесарем. Дала мне легкий подзатыльник и увезла на автобусе людей. Кроме автобуса, на окопы ушли еще пять полуторок.

Я ждал Писателя Пе. Он позвонил, что идет в новом галстуке, и застрял.

Я без Писателя Пе скучаю. Вот он придет и скажет:

– Мы ждем перемен. Мы ждем рассвета. Мы все время чего-то ждем. Дай выпить.

А у меня уже рюмка приготовлена.

– На, выпей.

Он отодвигает рюмку:

– Дай пива. Водки выпью в двухтысячном году. Налью стакан и жахну. Может быть, помру на пороге нового века. – Воткнет подбородок в узел галстука и засопит. – Как у тебя с грыжей? Ах, нету... С параличом? Ах, тоже нету... Мы с тобой неприлично здоровые. Это от невежества. Любой инфантилизм, вплоть до впадения в детство, следствие утраты профессионализма. Нас некому судить. – Пе поднимает палец к потолку. – Там тоже нет профессионалов. – И снова сопит, устраиваясь в кресле боком. Он любит сидеть скорчившись.

Я познакомился с Писателем Пе в канцелярии полевого госпиталя на Украине. Нас выписали в одной команде, и направление мы получили в одну часть.

Писатель Пе был в белом полушубке – такой он получил подарок от дружка-однопалатника, штабного писаря, раненного в голову. «Пойдешь на фронт – продашь», – сказал дружок.

Но мы, нас было пятеро, продать не разрешили. По дороге в часть мы обменивали полушубок на самогон и под видом патруля отбирали его: двое обменивали – трое отбирали.

– Жулье, – говорило нам население без особого горя.

– И вы жулье, – говорили мы населению без особого раскаяния. – Гоните из гнилой свеклы сивуху-отраву, вымениваете на нее у солдат обмундирование. Солдат, конечно, в бой идет, ему все трын-трава. Но в бою он мерзнет и промахивается! Отсюда вывод!

В тот вечер мы были честные, как херувимы. Мы отдали хозяйке последнюю банку сгущенки – ребятишкам полакомиться, – она наварила нам картошки и постным маслом намастила.

Прибежала соседка – старуха на соломенных ногах.

– Ой, Галина... У тебя, Галина, бачу, солдатики, а нет ли фершала? Чернуха моя разродиться не может, уж так страдает, так плачет, она же молодая, первотелок.

Не сговариваясь, мы уставились на Писателя Пе, уж больно правдивое – христианское – было у него лицо и полушубок белый.

Старухе мы объяснили, что Пе еще не совсем фельдшер – пусть знает, – но студент медицины, отличник по всем предметам, а по родильному делу у него оценка восемь с плюсом.

Писатель Пе встал из-за стола и вышел. Старуха на соломенных ногах за ним выскочила.

Когда он принес литр самогона, с нами случился шок. От изумления. Гипсово-бледный Пе обливал нас фосфорическим презрением, он тоже был в шоке. Все выпили противопожарную дозу, даже хозяйка. Писатель Пе поел, мы ему картошки оставили – все честь по чести, и я спросил у него:

– Ты что, действительно принимал телят?

– Сомневаюсь... Помню, наорал на хозяйку, почему теплой воды мало, где полотенце, мыло, ножницы, зажимы? А тут корова эта, Чернуха, и говорит нам: «Нельзя ли, милые, потише?» – и очень легко разрешилась. Остальное старуха сделала сама, да так проворно! И все бормотала, как молитву: «Спасибо, фершал золотой».

Я уже говорил – в молодости Писатель Пе был смелым человеком. Сейчас он беспокоен. Бегаёт на собрания по демократизации и выработке решений. Его девиз: «Собрания против катастроф». Дело в том, что в катастрофах обязательно погибают его родственники: один-два...

Он позвонил мне, что идет.

И вот заходит... В новом костюме светлом и новом галстуке сиреневом, ближе к синему.

– Мама мне говорила, что человеку моего возраста и моего рода занятий нужно красиво одеваться. Тогда мне было тридцать лет. Ее золотые слова попали на благодатную почву и дали всходы.

– Через тридцать два года.

– А это не важно. Дай выпить.

Рюмка у меня приготовлена – сверкает хрусталем на блюде с золотой каемочкой. И ломтик огурца.

– На.

Он огурец схрустел, а рюмку отодвинул.

– Недавно выступал в библиотеке. Вместе с двумя афганцами. Рассказывал, как книжки пишут. Они рассказывали, как воевали. И вот на вопрос: «К чему прежде всего вам пришлось пересмотреть отношение там, в Афганистане?» – они ответили: «К комсомолу и к ветеранам войны». Кстати, ты замечал, по телевидению или по радио – все ветераны сейчас разведчики. Пехоты нету. Выступает какой-нибудь козел и говорит: «Я был разведчиком. Языков хватал. Семьдесят языков схватил». А может, сто?.. Сто! А зачем? Куда ему столько?

– Солить. Но ты ведь тоже привираешь.

– Вру... А ты не язви. Если бы не моя глупость, я бы сейчас генералом был, может даже маршалом. Сидел бы верхом на белом жеребце...

По призыву Писателя Пе определили в пехотное училище в Уфе. Он даже поучился немного, потом пошел в медчасть и говорит:

– Док-к-ктор, я к-курс-сан-нт з-з-заик-ка. Ха-ха!

На этом его «Ха-ха!» в медчасть вошел начальник училища – генерал. Спросил с любопытством:

– Ты сумасшедший?

– З-з-заик-ка! – выкрикнул Писатель Пе.

– Списать в маршевую роту.

После первого боя Писателя Пе отнесли в госпиталь с разорванной брюшиной. А там хирургом доктор из училища. Писатель Пе обрадовался ему, как брату.

– Доктор! – кричит. – Гад буду, и вы тоже!

– Естественно. Пришел и говорю: «Т-т-тов-варищ г-генерал...» И генерал командует: «С-с-с-пис-ать!»

Умная читательница из дискуссии в «Литгазете» скажет: «Анекдот». А вот и нет – все правда, чистая, как дистиллят из слез Девы Марии.

– Ты дашь мне выпить? – сказал Писатель Пе. – Жадность в тебе разрослась.

– Перед тобой рюмка.

– Этого я не пью. Я пиво полюбил. Как у тебя с давлением?

– Сто тридцать на семьдесят.

– Как у космонавта. Твоя жадность происходит именно отсюда. Все себе захапал, даже хорошее давление.

Писатель Пе не пьет. Про выпивку он говорит, чтобы уязвить меня. Я пил, пил крепко – можно сказать, по-черному. Ко мне это пришло лет в тридцать пять, накатило откуда-то из генетического мрака. Писатель Пе, конечно, уверен, что своим подкалыванием он помогает мне держаться. Но ведь, может быть, и помогает...

– У тебя глаза такие же ненормальные, как, помнишь, мы сопровождали генерала. Что-то я думаю о генералах...

– А я о брате...

Писатель Пе скорчился еще сильнее, подтянул колено к оскаленным зубам. Он никогда не говорил о Чернобыле и редко об Афганистане. Он считал, что именно Афганистан подтолкнул и перестройку, и новое политическое мышление.

– Не бойся дня, – сказал он мне. – Дотянем до двухтысячного года и жажнем по стакану. И выкурим по сигарете. И споем. У нас, старик, есть два момента для гордости: Победа и Гагарин. Больше нету. Это надо понимать. Но это немало. Как думаешь, в двухтысячном году будет хорошая закуска?

– Наверно, будет, – сказал я. – Рольмопс...

Раньше командир корпуса приезжал в бригады на «виллисе» или на «додже» – с ним транспортер корпусной разведки. Теперь же, под конец войны, он почему-то пожелал ездить с эскортом. Потребовал для боевого охранения самоходку, бронетранспортер со счетверенным зенитным пулеметом, и нас – на связь, а если что – и на отбитие десанта. Нас он помнил еще с Варшавы.

Вот двигаемся мы. Хороший вечер. На западе слепящее небо. Лес черный. И прямо на нас низко от круглого солнца налетел – как будто снялась с верхушек сосен черная птица – бомбардировщик. Самоходка, уж как она смогла так пушку задрать, ухнула по самолету. Зенитчики забарабанили. А мы – нет. Мы шли последними, и мы успели разобрать, что самолет – Ту-2.

Он прокатил над нами. Проволок дымный хвост куда-то в темные поля. Мы некоторое время стояли, оглушенные моторами, пушкой, пулеметами и неожиданностью ситуации. Генерал что-то размыслил – послал нас в штаб армии с пакетом.

Их мы встретили километрах в десяти от линии фронта. Трое стояли на обочине, четвертый лежал на плащ-палатке с поджатыми к подбородку коленями. У всех ордена на груди – мы орденов своих не носили.

Попросили подвезти их к госпиталю или медсанбату. Двое молчали, все поправляли раненому то волосы, то неудобно упавшую руку. Третий, старший лейтенант, страшно ругался. Говорил, что за своего командира он хоть пять генералов куда-то там засунет. И все допытывал, как фамилия нашего командира корпуса. «Ишь, разъезжает. Ну прямо царь! Самоходка, зенитчики, разведчики. Не хватает передвижного борделя. Где это видано, чтобы паршивая самоходка сбила бомбардировщик?»

Он все бранился, и приставал к моему экипажу, и обещал что-то нам показать ужасное, потому что мы, как ему сейчас точно известно, стреляли тоже.

Мне он сказал:

– Чего уставился? Летчиков не видал?

Тогда Писатель Пе сказал:

– Может быть, вынем господина пилота из машины? Он своими криками раненому дыханию затрудняет. – По голосу мы поняли, что Писатель Пе побледнел, а когда он бледнел, он становился опасным.

– Пусть кричит, – сказал я. – Может, господин пилот действительно считает, что на войне он самый главный.

Старший лейтенант не привык к такому вольному с ним обращению со стороны солдат – ну, он был очень гордый. Он прошептал громко, как бы решившись на все:

– А кто же, сямка? Ну скажи.

– Пехота, – ответил я ему спокойно. – Именно пехота. – Я расстегнул раненому капитану пуговицу на воротнике.

Старший лейтенант взвизгнул:

– Не трожь командира! – Очень нервный был старший лейтенант или сильно обескураженный. Наверное, он был везунчиком, и это падение было его первым падением – все ордена да ордена, а мордой в кочку?

Ребята вскочили. Егор взял старшего лейтенанта за пуговицу. Паша Сливуха вынул у него из кобуры наган. Вскочили и молчаливые двое: штурман и стрелок-радист. Лучше бы сидели. Вскочив, они тут же лишились пистолетов.

– Да ладно вам, – сказал я. – Пусть лейтенант кричит. Наверное, ему надо.

Мы даже не заметили, что Саша-шофер остановил машину.

– Поехали, – сказал я. – Наганы отдам в медсанбате. Разрешаю материться.

Раненый капитан был похож на моего брата Колю. Не лицом – он и старше был, и скуластее, – а руками, спиной, позой, в какой лежал. Не того Колю, с толстой шеей, откормленного мамой для гордости перед соседями, а на обыденного, с худыми плечами и узкой ладонью – на того, что взял мяч сволочного Турка, на того, что кашлял кровью для гордости всего двора.

У медсанбата мы вышли все.

– Не сердись, сержант, – сказал мне штурман. – Сам понимаешь.

Я понимал, так мне казалось. И, почему-то оправдываясь, я сказал:

– Мы, товарищ старший лейтенант, действительно не стреляли. – Штурман был, как и второй пилот, тоже старшим лейтенантом. – Мы сразу по звуку угадали, что самолет наш, а самоходы, они же ни черта не слышат.

– Да, – кивнул штурман. – А зенитчики?

– Какие они, к черту, зенитчики. Они из пополнения. Этот счетверенный пулемет используют для уличных боев, он лупит как брандспойт.

Я отдал штурману их пистолеты.

Паша Сливуха помог летчикам нести раненого. Мы им дали презент.

– Он не выживет, – сказал я Писателю Пе.

– Но почему?

– Он похож на моего брата Колю.

– Дурацкая логика.

Логика моя была, к сожалению, безупречной.

Что нам известно о нашем легендарном времени? Из личного опыта – ничего. Легендарное время – раннее детство – заря. А на заре ты ходишь на четвереньках и говоришь с улыбкой полного счастья: «Ма-ма».

Но ведь что-то мы все же знаем из рассказов старших.

Наша с братом легенда начинается с появления нашей семнадцатилетней матери в деревне, где мы потом родились.

Рассказывали – мать прискакала верхом на рыжем высоконогом жеребце русской рыси-стой породы, звали жеребца Рыжим. Говорят, был он из Ниловой пустыни, монастырского коннозавода. Молодой, дикоглазый, с белой звездой на лбу, жеребец был материно приданое. А за пазухой у матери спал щенок по кличке Фрам. Кто ей подарил щенка на счастье? К мужу после венчания мать прискакала только через неделю.

Рыжего жеребца свекор продал. На эти деньги поставил маме избу, купил ей корову.

А когда мама в новую избу перешла уже с сыном, моим старшим братом Колей, дед принес молока в подойнике – мамина корова должна была отелиться – и сахару и перекрестил их – благословил на счастливую жизнь в новой избе. Фрам, тогда уже годовалый пес, притащил в зубах каравай теплого хлеба – у бабки спер. Бабка-то позабыла невестке и внуку хлеб дать. Не по жадности, не по вздорности – бабка была добрая, – но по забывчивости. Дед говорил: бабка ветреная, чешет где-нибудь языком, или песни поет, или пляшет.

С того дня легенда перенесла свой высокий глагол с красавца-жеребца на красавца Фрама.

Коля был нездоров в раннем детстве, весь в гноящихся прыщах, и все время ревел. Мать сутками не спала, все укачивала его. А он ревел. Она сидела с ним на крыльце и погибала: «Как подумаю, что вот такая она, жизнь... Уж лучше помереть...»

А тут оставила она сына на минутку в корзине и побежала к свекру – дед был у нее главным советчиком и опорой. Прибегает обратно – корзина опрокинута, Коля на пол вывален, из пеленок вытолкнут – лежит он на теплом полу, и Фрам его вылизывает. Мама бросилась сына спасать, но Фрам зарычал на нее, повернулся к ней задом и не подпускал к Коле, пока не вылизал.

Мать говорит, что тогда первый раз выпалась.

Потом она уже не мешала Фраму вылизывать сына. Брат Коля и пошел на спичечных кривых ногах, держась за густую Фрамову шерсть.

«Ты-то, – говорила мне мать, – сам пошел. Шел на четвереньках – ты не ползал – ты, как собака, ходил и вдруг встал и пошел. И горя мало. А Колю Фрам на себе вывозил».

На Фрама мать оставляла брата, как на няньку. В крестьянстве невесткам дома некогда сидеть, а бабка ветреная, на нее надежды нет.

«И тебя Фрам вырастил. Приду – вы все трое в кровати. А если в кровати нет – вы все трое в собачьей будке».

Один эпизод – а все они начинались у матери со слова «прихожу» – она рассказывала чаще других.

«Прихожу, изба солнечная, стены, потолок, пол – все будто воском натерто, а я только корову подоила и подойник в избу занесла, тут меня отец крикнул, – (свекра она называла отцом), – я выскочила, вернулась через минуту и вижу: в подойнике сидишь ты, и хорошо тебе – рот до ушей, на полу лужа молока, а сын Коля и Фрам из этой лужи лакают. Прислонилась я к косяку – хоть реви, что за жизнь у меня: ребята здоровые, собака – золото, корова молочная, изба солнечная, а муж сволочь. Видите ли, он в Питере стал партийцем и теперь на профсоюзной работе то ли дворником, то ли канцеляристом. Ребятам хоть бы ситцу прислал...»

Отец все же вывез нас в Ленинград. Фрама мать оставила в деревне. Потом, я это часто замечал, вытрет слезу, хоть и крутая была, – значит вспомнила Фрама. Она считала, что Фрам – ее единственный грех.

Фрама застрелили. Жил он в своей будке у своей избы. Поесть ходил к моему дядюшке или к деду, но не часто, где-то сам еду находил. Его побаивались и уважали. Он не пускал в деревню цыган. Ни в какую. Растопырится посреди улицы, ощерится, и видно – разорвет горло либо цыгану, либо коню. Приходилось цыганам телеги пятить. Заблудившегося теленка в деревню пригнал, когда хозяева уже и материться по нем перестали.

Застрелили его, потому что выл.

Однажды так жутко выл, с такой смертельной тоской и угрозой, сидя на крыльце у черного мужика Семена, что тот выстрелил в него из берданки в упор. В эту же ночь у Семена сгорели изба и двор. Соседнюю избу от огня отбили – после Фрамовой смерти сидели на улице, ждали беды.

Другую собаку я помню сам и, вспоминая ее, вспоминаю брата, тощего, с длинной шеей и наклоненной вперед головой. На его тощих ногах даже чулки болтались. Это тот момент, с которого я начал ощущать себя вдвоем с братом и понял его образ как образ брата. Ощущать себя как некую самостоятельную душу я начал позже, но вскорости.

Перед домом, где мы жили, стоял длинный – он мне казался бесконечным – дощатый забор. В щелки и дырочки от сучков были видны собаки. Там был собачий питомник и дрессировочная площадка.

Кто-то везучий нашел отодвигающуюся доску. Кто-то любопытный просунул в щель голову. Кто-то смелый протиснулся на площадку. За ним другой, третий. Брат Коля и меня втащил.

И вот мы удаляемся от забора вглубь.

Наверное, я занялся какими-то подножными исследованиями, потому что момент – и я вижу несущуюся на меня длинными прыжками собаку с черной спиной и песчаного цвета брюхом. Оборачиваюсь и вижу – мальчишки лезут в дыру на улицу, а брат бежит от дыры ко мне. Как он там очутился, когда только что был рядом?

Собака бежит, и брат мой бежит. И брат мой немного опережает собаку и становится впереди меня. А собака затормаживает так, что из-под лап брызжет трава. Подкатывает она по росе к брату, садится перед ним и заглядывает ему за спину.

– Я тут, – говорю я собаке. И выхожу из-за братовой спины. Собаки я не боюсь. И брат мой ее не боится. Боится стриженный парень в стоптанных сапогах и синей гимнастерке. Парень подбегает, свистя одышкой, и говорит:

– Хорошо, Буран. Молодец, Буран. А этих хороших мальчиков надо за уши оттрепать, чтобы они запомнили. – Голос у парня ласковый, только одышка сильная и глаза белые.

– А вы ее не бойтесь, – говорит парню мой брат и обнимает собаку. – Она вас полюбит.

Парень трясущимися руками пристегивает собаку на поводок, надевает ей намордник, и они провожают нас до забора.

А когда мы вылезли и брат, повернувшись, сказал: «Мы придем», парень показал нам кулак.

– Я вам приду. Я вам так приду – неделю сидеть не сможете.

Парень очень боялся своей собаки.

А мама, выслушав наш рассказ, сказала:

– Это вас Фрам спас. Он вас воспитывал, он вам что-то свое передал.

Она обняла Колю. Тогда я и понял, что Коля для нее особеннее, но ревновать не стал. Тогда я и понял – на ее щеках слезы по Фраму. Впоследствии я всегда угадывал, когда она по нему плачет, даже если у нее и слез не было.

Сколько бы ни называли видов памяти, но есть одна, в основе которой лежит любовь. Коля любил меня. Моя же любовь к нему, наверное, была как эхо, и поскольку эхо это не ослабевает до сих пор, то можно предположить, что я не одинок, что душа брата живет где-то рядом – скажем, над моей головой в голубых небесах.

Я боюсь леса, зато память моя – как лес. В моем лесу много цветов и птиц. Поет в моем лесу иволга. Смешно, конечно, сравнивать парня, у которого ворот рубахи был шире кепки, с иволгой, но брат живет в моей памяти худеньким и смелоглазым. Он все время во что-то вглядывается упорно, упрямо и озабоченно. А иволга – это когда он поет. Во время песни глаза его отдыхают.

Вслед за гениальным Платоновым я выстраиваю цепочку, такой коротенький поводок: Бог есть совесть, совесть есть труд, труд есть добро.

Тогда я был маленьким мальчиком, не отягченным ни трудом, ни Богом. Слова «добро» и «зло» пугали меня, как сумерки, когда трудно понять, кто стоит на пути, теленок или медведь. Надо мной была властна только любовь. Мой поводок был всего из двух звеньев: любовь – совесть. Любовь – это любовь моего старшего брата ко мне, а совесть – это моя любовь к моему старшему брату. Спросите у хорошего знакомого, что такое совесть, и он тут же приготовит улыбку, уверенный, что ваш вопрос – начало не смешного, но актуального анекдота.

Мой товарищ, в молодости артиллерист, романтик, владеющий языками, сказал мне сурово:

– Совесть – есть страж души. Пора бы знать, не маленький. Отсюда страждущий – разыскивающий свою потерянную совесть. А это уже почти хенде хох.

Он прав? Наверное. Во всяком случае, красиво. Писатель Пе считает, что так оно и есть. Но кто знает все свойства совести? Она не устаревает, как знания, не сламывается, как душа, не ослабевает, как сила воли, не устает, не спит. Иногда она спит, но чаще бывает потерянной. Бывает чистой, бывает запятнанной. Грязной совесть не бывает. Цвета не имеет. Какой же она страж, если может только спать и теряться, если она боится пятен?

С самого раннего детства благодаря моему болезненному брату и одному мудрому доктору я знаю, что совесть есть функция памяти о ремне.

Когда моего отца, работавшего в ту пору завхозом водноспортивной базы на Крестовском острове, направили проводить коллективизацию в район Окуловки и мы остались без всего, даже без керосина, нам на трамвае бабушка, мамина мама, от Смольного привозила бидончик щей и немного хлеба. Мы съедали щи, возвратившись с биржи труда. Чуть свет мама брала меня с собой. Я сидел у батареи парового отопления в тепле на кафельном полу, посыпанном опилками, а мама, вся в черном, потертом до бурого, протискивалась в первые ряды толпы, надеясь, что ее, молодую, возьмут на работу подсобницей или на обучение. От толпы пахло махоркой, мокрыми лаптями, овчиной и дегтем.

Так почему же я, прежде чем вспомнить бабушку с каждодневным бидончиком щей, вспоминаю брата, сидящего в сбитой комком постели в чулках и в рубашке в крапинку. Тонкая длинная шея брата замотана ватой, бинтом и шарфом. На горячих щеках и на носу веснушки. Но глаза у него строгие, без улыбки.

Доктор легонько обстукивает его согнутым пальцем.

– Какой-то ты, братец, птичьей породы, – говорит доктор. – Какой-то мне незнакомой. Может, ты киви-киви? Сидишь вот молча. Из-под штанишек еще штанишки торчат. Я в твоём возрасте нагишом бегал и песни орал во всю мочь. «Хас-Булат удалой» знаешь? Это штаны мужиков погубили, подштанная, понимаешь, затхлость. Снимай, понимаешь, все свои штаны, я тебя драть буду ремнем, тогда твоя совесть пробудится. И ты болеть перестанешь. Совесть силу организму дает. Совесть, братец ты мой, есть функция памяти о ремне.

– Я и в штанах поправлюсь, – говорит брат. – Мне болеть нельзя, я в нулевку хожу. Уже все буквы знаю и счет до ста.

– И не спорь, в штанах не поправишься. Хас-Булат не поправился...

Про Хас-Булата все пели, у него была бедная сакля.

Брат так серьезно снимает штаны, он такой тощий...

– Стегайте, – говорит, – я терпеть буду.

Доктор прописывает рыбий жир и уходит, лысый, в круглых печальных очках. Брат подзывает меня, извлекает из-под подушки конфету, большую, с белым медведем на фантике. Я тащу зазубренный хлебный нож, мама им колет сахар на ладони. Брат делит конфету, дает мне ту половинку, что хоть и немного, но все же побольше. На нем только рубашка в крапинку – косоворотка, и мы знаем, что теперь он скоро поправится.

Случилось так, что маму взяли на работу на завод «Севкабель» волочильщицей. И сразу замелькали перемены.

Мать пришла в красной косынке, румяная. Мужик один, по выражению матери, «такой же идиот, как и ваш батюшка», устроился завхозом на водноспортивную базу и предлагает маме обмен жилплощадью, две комнаты в Гавани на Опочининой улице на нашу казенную квартиру. Плюс дрова и переезд.

Ну, для нашего переезда особый транспорт не потребовался – мы переехали на трамвае. Две корзины с крышками, чемодан фанерный, узел и швейную машинку мужик привез на лошади. Он кашлял и думал, что на острове среди природы ему будет легче.

Колю перевели в школу на Опочининой улице.

И вот уже проснулись мухи на белой стене нашего белого дома и ходят. Я на них смотрю, но не ловлю – мне нельзя руки пачкать.

Прибегает Коля, хватая меня, и мы мчимся в его темнокирпичную школу, где он заканчивает нулевку. Там ему дают стакан молока и булочку. Он отпивает чуть меньше половины, передает мне стакан и полбулочки и вытирает крошки с моих толстых щек.

Я толстый. Коля тощий. Мать велит ему рыбий жир пить. Но он не может. И вместо него я пью рыбий жир прямо из горлышка бутылки. Мать спрашивает:

– Рыбий жир пил?

– Пил, – шепчет он, глядя в пол.

Мать смотрит на бутылку и говорит:

– Я знаю, кто тут пил.

– Меня и дери, – говорю я. – А его не тронь.

– Его я не трону. Вот он помрет, и ты останешься один.

Мать не может ударить меня сильнее. С эгоизмом у взрослых полный порядок и с изощренной жестокостью тоже. Это уже потом они гуманисты, когда сбиваются в кучу на профсоюзных собраниях и симпозиумах по проблеме: «Есть ли жизнь на Земле или одно сплошное мучение?»

Я рассматриваю старую похоронку, тонкий листок, желтый, как будто в нем держали хину. Я чувствую себя непосредственным виновником Колиной смерти. Паскудно я себя чувствую...

Писатель Пе утверждает, что толерантность, мне свойственная, должна исключать рефлексию, но ум, мне не свойственный, не может исключить глупости, поскольку ум и глупость сосуществуют в одном индивидууме, причем у глупости большая адаптивная емкость, что важно. А меня следует лечить катарсисом или высоковольтным электричеством. И вообще – пора ему выпить пива.

В двух комнатах на Опочининой мы жили хорошо. Они были почти пустые. Мы делали себе игрушки из катушек, резинок и пуговиц. Мы разобрали будильник, мы разобрали детекторный радиоприемник, который мать купила для укрепления своей эмансипирующей души. И оба раза на вопрос: «Кто это сделал?» – Коля выступал вперед, как журавленок, и, повесив голову, говорил:

– Я.

Тогда я выкатывался вперед и тоже говорил:

– Я. Меня дери.

Мать не драла нас, потому что не драла Колю. Но когда я у нее остался один, с гуманизмом было тут же покончено. Я получил сполна за все годы ее терпения.

У мамы появился рыжий летчик. Тут же она послала отцу в район Окуловки развод. С разводами было просто – их давали без суда по заявлению одной из сторон.

Отец приехал утром на серой лошади, в седле. Мы ели манную кашу. Она не остыла, укутанная в платок, накрытая маминой подушкой. Мать сварила ее и ушла на завод, она всегда торопилась туда – там ей было интересно.

Отца мы увидели в окно. Он привязывал лошадь к фонарю.

Коля впустил его и сел за стол. Он вяло ел кашу, а я не ел. Я хотел кашу есть, но не ел из какого-то упрямства.

Коля сказал:

– Ешь.

А я сказал:

– Не буду. – И, чтобы прекратить разговор, высыпал в кашу соль из солонки и размешал.

– Не ссорьтесь из-за каши, – сказал отец. – Я съем. – И он съел – пересоленную. И ложку облизал.

Коля глядел на него глазами, полными слез. Подвинул ему и свою кашу. Отец и Колину кашу доел. Коля очень редко плакал, он был привычен и к боли, и к одиночеству, и к темноте, но глаза его быстро наполнялись слезами от сострадания.

– Вот так, – сказал отец. – Выходит, у вас больше нет папки.

– А его и не было, – простодушно сказал я. – Нам щи бабушка привозила.

– Ах, что там щи, – сказал отец. – Теперь, наверно, у вас другой папка будет, неродной. А вы ж мои. От сердца моего. – Он встал и обнял Колю.

Потом был суд – отец подал на раздел. Делили нас и квартиру.

Мы на суде были. Там было много красной материи. Портрет Ленина над судьей. Судья в синей косоворотке. И одна старушка в пенсне.

Мама хотела оставить нас обоих себе, суд не возражал, но вдруг Коля встал и сказал:

– Я хочу жить с отцом.

Мать так и ахнула.

И суд кончился. Больше не было вопросов. Отцу присудили Колю и комнату. Старушка в пенсне сказала маме:

– Гражданка, так Господь рассудил.

Но мама знала, что так рассудил Коля. Ни подучить, ни настроить Колю было невозможно. Он был сильнее всех.

Мама с ним не разговаривала. Она решительно освободила одну комнату. И отец с Колей спали там на полу.

Когда мать ушла на работу и мы снова ели кашу, я спросил у Коли:

– Ты зачем к отцу попросился?

– Он один, – сказал Коля. – У мамы ты есть и рыжий летчик. А он совсем один.

– Он плохой.

– Но все равно один.

Память моя – как лес. В моем лесу много цветов и птиц. В нем иволга поет на заре, будит меня, и я думаю, как мне жить дальше. А иволга улетает в синее небо, оставляет мне свою песню. Но я не могу вспомнить ее мотив. Может быть, это «Катюша»? После похоронки я ни разу не пел «Катюшу». И очень мне бывает плохо, когда ее поет кто-то рядом. У меня такое чувство, что «Катюшу» я ненавижу, что она антипесня.

Мама вышла замуж за рыжего летчика. Была свадьба. Я не захотел пировать на ней, ушел к соседям на сундук, хоть и понимал свадьбу как веселые проводы старого мужа – радость свободы.

Писатель Пе относится к свадьбам проще. Он к ним относится хорошо. Хотя и говорит и даже настаивает на том, что свадьбы отличаются от поминок не в лучшую сторону. Если поминки, начинаясь на торжественно-печальной ноте, потом раскручиваются в балдеж, что соответствует бренности всего сущего, то на свадьбах нервное театральное веселье и тщедушный двусмысленный юмор скатываются на грань истерики и мордобоя. И вдруг оказывается, что тема исчерпана – тоска. На свадьбах нет простоты. И если на поминках чувства у всех едины – усопший был более или менее хорошим парнем, – то на свадьбе все путано, не проявлено, окрашено зыбким светом надежд на кредит. «А вдруг Господь в кредите откажет?..»

– Ты имеешь в виду любовь до гроба?

– Я все имею в виду – весь комплекс этой чертовой семейной жизни. Да кто, скажи мне, это выдержит без вмешательства Самого? Семья – лучшее доказательство воли Божьей и наличия высшей силы.

Против высшей силы у меня нет возражений – она, конечно, есть и правит.

В прошлом году в мае мы с Писателем Пе поехали на бракосочетание его племянницы. На набережную Красного Флота.

Когда мы подъехали ко Дворцу бракосочетания, буксир, похожий на вяленого леща, тащил по Неве крейсер «Аврору». Шел дождь – небо над Ленинградом плакало. Но все равно на набережной толпился народ. Пусть дождь, пусть ливень, но всем ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, чтобы «Аврора» шла своим ходом.

Трубы гордо дымят.

Рдеют флаги.

Грохочут машины – сверкают:

шатуны,

кривошипы,

шевроны...

Трансляция на весь мир. Пар! Брызжет масло.

– Сейчас «Авроры» уже нет, – сказал кто-то в толпе. – Наверное, в ней даже гальюнов нет – голубые писсуары, финские.

– Там ничего нет. Там будет зало с паркетным полом, шведским. На стенах картинки повесят про революцию. И лекторы станут рассказывать, какая «Аврора» была...

– Говорят, там сауна для главкоммора.

– Это теперь чучело крейсера революции. Душу вынули... Душа и у крейсеров бывает.

– А не было. Залпа, говорю, не было. Был выстрел холостой. А может, и выстрела не было. Может, свистнули в свисток или в два пальца.

– Был залп, – сказал Писатель Пе. Он вылез из машины и теперь стоял под зонтиком, красивый.

– Да как же из одной пушки можно дать залп?

– Шутя...

Мы пошли по дождичку с букетами роз. На «Авроре» из трубы шел белый дым. Кто-то безжалостно и немилосердно говорил, что это матросы чай кипятят для банкета по случаю конца.

А по телевидению в этот момент выступал руководитель проекта реконструкции «Авроры» и объяснял, что виноваты в данном странном коллективном сне все: и писатели, и директор Эрмитажа Пиотровский, и разноречивость мнений насчет залпа. Сказали бы нам: «Был залп. Чинить!» И никаких гвоздей. Мы бы ответили: «Есть чинить!» И починили бы. И все. И чин по чину.

Невеста плавала в слоях нейлоновой росы. Она угадывалась в прозрачном. Стройная.

Писатель Пе любил ее и называл – «Счастливая на пробковом ходу».

Сейчас – год прошел – она уже развелась. Папа, мама, дяди, тети воспитывают ее сына, чтобы ей не брать академический отпуск в институте. Кстати, имя Аврора – редкое для девочек ее поколения – ей дали по просьбе ее дяди, Писателя Пе. Ходят слухи, что она снова собирается в тенета.

Но иногда, но даже очень часто, Писатель Пе садится в кресло, обхватывает колени руками да и сгибается так, что позвонки проступают на спине, как у осетра шипы. Глаза его – как окна с выбитыми стеклами, как небеса без синевы...

– Тебе не кажется, старик, что шестьдесят лет мы прожили с тобой впустую? Собственно, вся наша жизнь – псу под хвост, окромя войны. Обозрели мы с тобой за эти годы тупичок, очень похожий на густозаселенное кладбище, на котором даже дорожки, даже центральная площадь выстланы могильными плитами. А теперь мы возвращаемся обратно к тем дням, когда мороженое с вафлями и петушки на палочках были так желанны. Вчера иду по Невскому, у аптеки, угол Желябова, какая-то дама торгует булками с изюмом своей выпечки. Рядом парень галдит, торгует такими штуками, чтобы жарить хрустящий картофель. Хоть бы домашние котлеты продавали – так хочется вкусных котлет. А на Софье Перовской толпа – художники портреты пишут карандашами, картины продают акварельные. В магазинах все эстампы да эстампы – офсет. Знаешь, офсет у меня почему-то ассоциируется с дустом.

Писатель Пе подтянул колено ко рту, ну, кажется, сейчас укусит сам себя.

– Если бы, – говорит он, – форма нашего будущего не была столь расплывчата, ее нельзя было бы упаковывать, скажем, в такую фразу: «Вперед, к победе коммунизма!» Почему вперед, а не вверх? И почему к победе? Над кем? Почему не просто – в коммунизм? Как в лес. Как к морю. Как на Кавказ. Форма, старик. Лес – это форма. Кавказ – тоже форма.

Волос на его голове еще много, и еще не совсем седые они, но нет в них пышности, величавости. Нету у Писателя Пе и шеи. А ведь была. Был он гусь. А сейчас что-то вроде вороны. Движения резкие. Или совсем замрет, как филин.

– Нам нужно только ждать. Мы ждем рассвета, – шепчет он.

– Студентка милая Мария, отличница и активистка, кандидат в кандидаты наук, что вы там сделали с Писателем Пе? Так ли уж он вам не мил? Так ли уж вы строги? А если он умрет?

– Ой, не смешите. Пусть умирает. Мы не сдохнем. Оглупленные своей якобы грандиозностью, вы и допустить не могли, что пестренькое, волосатенькое, в соплях и заклепках, корриги-

руется со средой, как губка, как лишайник. Оно устойчиво к чернобылям, слезоточивым газам, утрате предков, дальтонизму и многому другому. Вы же все время думаете о монументах. В сущности, вам больше и не о чем думать. Вы своим непрекращающимся нытьем о прошлом вашем героизме воспитали в нас равнодушные к смерти – стало быть, и равнодушные к небу...

– Извините, я хотел поговорить с отличницей и активисткой драмкружка Марией, студенткой.

– Не все ли вам равно с кем? Вы же хотели покрасоваться? Ну покрасуйтесь...

– Это Аделаида, – сказал Писатель Пе. – Я ее знаю. Аспирантка. Тоже высокая. Тебе с нею не совладать. Старик, мы ждем рассвета, чтобы разглядеть самих себя. Поскольку уровень невежества при нас стал уровнем культуры, то мы, как изюм в тонкой лепешке, торчим насквозь. Ну, может, не изюм, может быть, тмин. Аделаида, она, стерва, нас видит четко, она знает, кто мы. Я думаю, мы представляемся ей недалекими. Я с нею согласен, иначе как объяснить ту ангельскую смелость и ту убежденность, с которой писатели всякий раз вскрывают, обнажают, поучают. Аделаида поняла, что дурак дурака ничему хорошему научить не может, и потому она ждет. Сейчас все умные ждут.

Писатель Пе считает, что литература нынче обязана не торопиться – поотдыхать в тенишке, не рваться на дыбы, не ржать победно. Предмет искусства пока еще в пленках, а все революционные слова произнес в свое время товарищ Демьян Бедный.

Но я хочу беседовать с Марией – студенткой, активисткой пинг-понга. С ней мне не боязно. Правда, иногда мне кажется, что теперь студенток нет, – все девушки устроились работать продавщицами, и именно поэтому у них на лицах такая скука и брезгливость. Но нам нужно быть терпимее к студенткам, поскольку очень долго мы были терпимы к их профессорам.

Терпимость к молодежи – первая ступень свободы. Что ты на это скажешь, Мария?
Вздых...

Мама увезла рабочих на окопы, и я остался один.
На работе у меня было все хорошо.

Парню, у которого руки растут оттуда, откуда они должны расти, автослесарем стать нетрудно. Автомобиль – машина, в общем, примитивная. Разве что двигатель. Но он идет в моторную группу, где механики чумазы и высокомерны. Однако и в моторе нет сложности. «Сложность в простоте. Большое в малом» – любимые слова Писателя Пе. У него много любимых слов.

Автослесарю нужна сила. Парень я был здоровый – мотор из «эмки» вытаскивал без лебедки. Автослесарю нужна смекалка. Смекалка у меня была. Не было ума, чтобы перейти из таксопарка на завод «Севкабель». Таксопарк наш переименовали в Авторемонтные мастерские Северо-Западного фронта, потом организовали завод по расточке цилиндров для танковых двигателей, и наши мастерские перевели с Конюшенной площади в гараж «Интуриста» на Петроградскую сторону.

В каждом сквере были выкопаны щели. Окна магазинов на центральных улицах защиты досками. Но в столовых, где по карточкам давали обеды, окна были еще без затей.

Гречку, рис, макароны, не говоря уж о картошке, вытеснила чечевица. Соседка за столом в столовой сказала мне: «Я родилась в семнадцатом году и чечевицу ем в четвертый раз. Первый раз совсем маленькая была, в другой раз уже осмысленно, в тридцатые годы – это вы помните, потом финская война – это вы тоже помните. И вот снова... Откуда она приходит, чечевица? Где она зреет?»

Писатель Пе купил чечевицы килограмм в магазине на Садовой. Двадцать пять лет назад. Он все грозит позвать меня на чечевичную кашу. Я думаю, в 2000 году позовет, тогда он выпьет стакан водки, закурит сигарету, у него такая мечта, и угостит меня тарелкой чечевицы. Может быть, к тому времени в продаже появится кокосовое масло. Хотя кокосового масла он не пробовал, он уехал из Ленинграда в начале чечевичной диеты.

Я спросил в бакалее у девушки с глазами птицы Гамаюн, нарисованно-громадными и мелководными, как лужи на мраморе:

- Чечевицы, барышня, нет ли у вас?
- Че-че... Чего? – спросила она надменно.
- Чечевицы.

Она не шелохнулась. И тут старуха, шелудящаяся за моей спиной, толкавшая меня кулаком – я ей что-то заслонял, – вдруг закричала ржавым голосом:

- Да чтоб она сгорела – пламенем! Ишь чего выдумал!
- А вы, бабуся, не кричите. – Нарисованно-громадные глаза упали, как очки на кафельный пол. – Я уже слышала сто раз: тут вот стояла бочка икры черной, тут бочка икры красной, тут севрюга лежала, тут семга...

Глаза у девушки как окна с выбитыми стеклами. Небо за окнами низкое – тяжелые остановившиеся тучи, подкрашенные пожаром.

Напротив нашего дома в Гавани жила молочница Мария Павловна. Домик у нее был одноэтажный, избой назвать нельзя – кирпичный. Забор с колючей проволокой по верхам, чтобы мальчишки не лазали за редиской. Огород был. Корова. Собака Альма. Альма рожала щенков разной породы. Муж Марии Павловны работал извозчиком.

Из нашего окна было видно, как утром он запрягает лошадь, как распрягает ее вечером. Как Мария Павловна загоняет корову в хлев. Городское наше окно упиралось взором в деревню. Но дальше, за кирпичными домами, за железными крышами вызревал посев новой жизни – Дворец культуры имени Кирова.

Лошадей призывали в войска. Муж Марии Павловны ушел вместе с лошадью.

Потянулись по улице обозы с военными грузами – странно, почти фантастично выглядели на Большом проспекте телеги с ранеными. Корову Мария Павловна засолила. Альма исчезла.

В декабре Мария Павловна умерла. Муж ее к тому времени погиб. И птицы над ее деревней не летали...

А в конце августа – начале сентября дни стояли солнечные, теплые, можно сказать – жаркие.

Одному жить плохо. Товарищи вдруг исчезли: и одноклассники, и во дворе.

Чем меньше становилось еды, тем более сужался круг общения. Но когда еда исчезла совсем, снова стало возможным ходить в гости. Это справедливо для неохваченных – охваченные организационно жили иначе. Я бы еще мог, наверно, пойти работать на завод «Севкабель». Я это понял позже, и поздно. Тогда я этого еще не понимал. Мешало возбуждение. Очень, вопреки происходящему, хотелось победы. Чудесной, сиюминутной победы. Чтобы сообщили по радио: «Дорогие братья и сестры, победа на всех фронтах!!!»

Я поехал к бабушке.

Бабушка жила с внучкой, студенткой-первокурсницей. Отец студентки, мой дядя, и его жена каким-то образом оказались в Саратове. А бабушка с внучкой остались.

Сестра, я думаю, обрадовалась мне. Все говорила: «Мы победим. Но, право же, мне непонятно – что происходит?» Сестра жила в Германии и видела фашистов вблизи – «Такие рожи!». Кажется, она даже Гитлера видела. А я видел, как крылатый человек стреляет в девочку. И

девочка, лежащая калачиком на шпалах, сбивала мои мысли, мешала говорить красиво. «Крылья разве для убийства? Крылья для полета – для боя!»

Молчала моя бабушка, спокойная, привыкшая ко всякой беде, мудрая и немногословная. Она знала, что разговоры лишь усугубляют страдания, иссушают душу, лишают человека твердости. Бабушка пошевелила мне волосы; наверное, хотела перекрестить, да смутилась, спросила, есть ли у меня деньги. Деньги у меня были, мне дали аванс.

Мы попили чай с сушками, сохранившимися у них с довойны, и я поехал обратно. В тот день ко мне пришел Марат Дянкин. Марат – самое распространенное литературно-блокадное имя – не Спартак, не Марксэн, не Ревмир, но Марат.

Но сначала о Музе.

Замечательная девочка Муза жила этажом выше. Мы громко играли в футбол, Муза играла на фортепьяно. У нее были чистые-чистые руки, белые-белые воротнички, гладкая-гладкая кожа и много веснушек. Она была славная, портили ее лишь чарующие звуки и грациозные телодвижения.

К тому времени, когда она впервые сказала мне «Здравствуй», погибло уже четыре тысячи пятьсот наших самолетов. Было смертельно тошно, когда «мессершмитт», как бы шутя, сбивал наших соколов. Но они шли на него. Шли на таран.

Муза столкнулась со мной у парадной. Она сказала мне:

– Здравствуй, я очень рада, что ты живой. Эти негодяи взяли Любань. Я там три лета на даче жила.

И тут к нам подошел Марат Дянкин в широченных брюках и вислом свитере. Поздоровавшись, он назвал свое имя.

– Очень приятно, – сказала Муза и, что уж совсем обалдеть, совершила изящное приседательное движение.

У Марата покраснели уши. А я сказал, чтобы прекратить курятник:

– Немец взял Новгород.

Музины длинные загнутые ресницы дрогнули, выпрямились, готовые полететь и поразить врага.

– Злодеи, злодеи... – Это ее слова. – Но если они войдут в город, я буду лить на них кипяток, потом выброшусь из окна.

– Зачем кипяток – раздадут оружие. – Это сказал Марат.

Муза смущенно глянула на него, потом на свои чистые-чистые руки, улыбнулась робко и побежала вверх по лестнице, боязливо сведя лопатки: она боялась, что оружие в руках удержать не сможет и выстрелить в немца не сможет – в его поганое ледяное сердце.

Марат должен был, глядя Музе вслед, сказать: «Профурсетка», но он сказал:

– Батя погиб...

– На брата Колю похоронка пришла, – сказал я в ответ.

Мы долго молчали, словно были виноваты друг перед другом, потом обнялись.

Чувством, владевшим всеми подростками в городе, была баррикадность. Хоть никто и не допускал возможности уличных боев, каждый видел себя в них победителем. То, что городу предстояло перенести, не могло и в голову-то прийти никому. Не только в голодных снах – а жрать уже хотелось постоянно, – но даже душевнобольным на Пряжке. Интересно, вывезли их из заблокированного Ленинграда, спасли мы для будущего психов и хроников? Наверное, спасли.

Сладкозвучную Музу с рыженькими веснушками, в белом-белом воротничке, я мог все же представить за пулеметом, но не с тарелкой студня, сваренного из столярного клея, не с блюдцем оладий, испеченных на малярной олифе из вымоченной в четырех водах горчицы.

Я ждал мать. Но она все не возвращалась с окопов.

И однажды в гараж пришла женщина с забинтованной головой – мойщица машин. Меня к ней послали.

Глядя в сторону ослепленными воспоминанием глазами, она рассказала, как погибла моя мать. «Сгорела. На нее бензин фукнул. Она бросилась в воду, и вода, ну, там, куда она бросилась, еще долго горела...»

Кроме мойщицы, в гараж вернулись еще две женщины.

И все...

Мой школьный портфель перестал быть убежищем моих двоек, превратился в гроб моего сиротства; я достал из него похоронку на моего брата Колю и на обратной стороне уже начавшего желтеть листка написал дату маминой гибели.

Я сидел перед зеркалом, его подарил маме ее второй муж, рыжий летчик, и что-то осыпалось с моих глаз – не слезы, слез не было, – что-то вроде сверкающей невесомой парши.

Наверное, именно в тот день произошло смещение моих психогенов от романтического многогранника к смешливой загогулине, и зеркало способствовало этому смещению, даже в самые страшные дни оно корчило мне рожу.

Но в раннем детстве я никак не мог увязать простодушное свое отражение в зеркальном стекле с собой живым, все пытался заглянуть зеркальному мальчику за спину и терпел неудачу – ударялся о его гладкий холодный лоб своим тогда тоже гладким теплым лбом. Я пытался застать врасплох зеркального мальчика, но он всякий раз оказывался хитрее и проворнее меня.

А с Маратом Дянкиным я учился с третьего класса. Мы сидели с ним за одной партой. Все, что не касалось драк, мы с ним делали вместе. Долгое время, а еще точнее – всегда, он был моим самым близким душевным другом.

У него было много сестер от разных, они это особо подчеркивали, отцов. Брюнетки, шатенки, блондинки являли собой могучую заросль: идешь по кухне – она у них служила и коридором, и гостиной, – и тебе загораживают путь полуодетые баобабы.

И мать у Марата была очень крупная, и отец тоже.

Отец, хоть и большой, но не могучий, работал пожарным. Сестры считали Марата за своего, называли Муриком, а вот к папаше его относились трамвайно. Мол, «пardon, разрешите пройтись...». От всех своих крупных, уже взрослых, сестер Марату перепадали двугривенные, и он брякал ими в кармане – привычка, прямо сказать, дурацкая и весьма неприличная. Когда я хотел его уязвить, я говорил ему: «Ну перестань играть на бильярде, Мурик». Вообще же все называли его просто Дянкин. Сейчас, пожалуй, мало кто и сообразит, что происходила его фамилия от варежек, которые наши бабушки упорно называли дянками. Они не говорили даже «рукавички» – только дянки. Перчатки считали глупостью, чем-то вроде противозачаточного средства.

Перчаток мы, конечно, не носили. Но очень хотели иметь и белый шарф, и шелковый цилиндр, и перчатки с кнопкой. И к этому ко всему – трость. Некоторым повезло: железо мимо них пролетело – они, потея и хихикая, напялили на себя в Германии цилиндры и в таком виде сфотографировались.

Писатель Пе называет такие фотокарточки возвратным тифом онанизма.

Марат Дянкин, широкоплечий, ширококостный, в широких брюках и широком обвислом свитере, брякал двугривенными в своих необъятных карманах, но мы не завидовали ему – мы не знали стеснения в деньгах. У нас была СВАЛКА – КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА!

Завод «Севкабель» вывозил на свалку и свинец, и медь. От него не отставали завод «Коминтерн» и другие заводы, в том числе и Балтийский. От них не отставали все слои населения: рабочий класс, партийцы, спекулянты, интеллигенция, артисты, учащая молодежь. Всем было ничего не жаль. Один раз мы нашли два серебряных кубка, связанных шелковой лентой. Не говоря уже о серебряных ложках и вилках. А медные кастрюли! Тазы! Фарфор. Фаянс. Книги. Готовальни.

Ларек «Утильсырьё» стоял прямо тут, на выходе со свалки. Отечный вонючий утильщик в беспальных перчатках пытался зажать двугривенный из скупой, назначенной им же самим цены. Мы боролись за справедливость – на ларьке висел преysкурant. И, победив, ликовали.

Прямо со свалки мы шагали в кинотеатр «Маяк», где на детских сеансах стекали горячими ручьями по наклонному полу и божественный страх и божественный смех малышей. Такого уже не будет, ничто уже не ввергнет детей в пучину абсолютной радости.

Дянкиного отца в семье называли Кум Пожарный. Дянкиновы сестры над ним подшучивали: потянувшись за сахаром или за солью, они норовили коснуться его лица грудью, как говорил Дянкин – «соском». Меня так заворожили их нравы, что однажды, придя к Дянкину, я сказал:

– Привет, Кум Пожарный.

По лицу Кума прошла судорога. Прохрипев что-то неразборчивое и неприличное, он схватил меня за шиворот и выбросил на лестницу.

– И чтобы ноги твоей больше тут не было!

Дянкиновы сестры, еще дверь не закрылась, за меня заступились: чего же, мол, оскорбительного в слове «кум»?

– Каждый щенок! Каждая сопля! Каждая проститутка! А я человек! – кричал Кум. – Я боцманом плавал! Руки у меня!..

Долго я не приходил к Марату, но однажды, пробегая мимо пожарной части, я услышал свое имя. Кум Пожарный сидел на скамейке под медным колоколом.

– Приходи, – сказал он. – Давай инцидент забудем. Ты понял, не называй меня так. Эти кобылы меня так называют – черт с ними, шлюхи чертовы. Я вообще у них с боку припека. Только Мурик со мной считается. Имя мальчику выдумали – Мурик... Не будь его, я бы да о-го-го! Я бы с Папаниным. Да, черт меня подери, я же ведь все могу. У меня руки... Родила она, понимаешь, мальчика, ну и пришлось, и терплю. В пожарку устроился. Я же его и вынянчил. Здесь-то сутки дежурю, трое суток свободный – халтурую. У меня ж руки – за что ни возьмусь... И за Маратом присматриваю...

Я пришел к ним в тот же день, и никто не подал виду, что имел место инцидент. Пахло ананасом – старшая Дянкинова сестра Нюра, служившая в Таллине, приехала в отпуск с ананасом и чемоданом подарков.

Она погибла в Таллинском походе.

Мы с Дянкиным потоптались у моего парадника. Дянкин спросил о Музе и опять профурсеткой ее не назвал – он всех девчонок называл профурсетками. Ну, я сказал, что она не вредная, хоть и интеллигентка. Потом мы пошли к нему. Сестер его дома не было, все – я этого ожидал – были на фронте.

– Экипаж машины боевой, – сказал Дянкин. – Впрочем, в один танк они не запятытся. У них буфера как кастрюли. А задницы... Писем сколько наслали. Тебе приветы передают. А эта Муза – кипяток она будет лить! На каком она этаже живет?

– На четвертом.

– Кипяток, пролетая, остынет.

Мать Дянкина была деловая. О гибели мужа не сказала ни слова – говорила о песке, который не там разгрузили, о пустых бутылках, которые нужно собрать для заполнения их зажигательной смесью. «Мы – истребители танков», – говорила она. Она посещала курсы по истреблению танков.

В тот день, когда мы встретились у моей парадной, Марат Дянкин пришел из деревни, из Вологодской области.

Наверное, он был последним – блокада за ним сомкнулась.

Я забегал к нему часто. Глаза его с каждым днем становились все медленнее, все синее, а губы тоньше и бледнее и как бы наполнялись воском. Крупный, широкий в кости парень усыхал, превращался снова в мальчика – может быть, в духа, может быть, в медленно пульсирующую мысль, похожую на узор лесной паутины с искорками росы на стыках нитей. На работу его не брали.

Дянкин был нездоровый, поэтому, наверно, он так неудержимо быстро худел. Он мерз. Было тепло, а он мерз.

– Зачем ты из деревни ушел? – говорил я ему. – Жил бы с бабушкой. Корова, курицы, баранина...

– А ты чего же в Ленинград приперся, не захотел с бараниной?

Он спрашивал о Музе.

– Играет на рояле?

– Каждый день.

Он крутил головой – может, пытался услышать Музин рояль. С его воображением это было раз плюнуть. Он мог летать, мог стать лучом.

В душе параллельных линий нет, в душе даже лучи пересекаются. И где-то там, на небесах, подчиняясь высшему закону, Дянкин-луч пересечется с Муза-лучом. В точке их пересечения вспыхнет звезда.

Марат заболел по-идиотски. Его болезнь всю нашу школу смутила и сбила с толку. Одна девчонка из нашего класса побила его очень сильно. Он был воспитан в абсолютном уважении к женщине – тут и его мать постаралась, и его многочисленные сестры. Он не мог дать той девчонке сдачи, а нужно было ей немедленно врезать. И ей было бы лучше.

Она исцарапала ему лицо, пропахала ногтями череп. Он ни в чем не был повинен, она сорвала на нем свою злость. Мы едва ее оттащили, а он заливался кровью. Страшно было смотреть. Полосы от ее ногтей остались на его лице для меня навсегда.

Девчонка была созревшая телом, гуляла с ребятами много старше себя, причем с приклатненными. Кто-то из этих ребят сделал фотоколлаж – в порнографическую открытку впечатал ее лицо. Дянкин это художество у нее увидел на парте. Почему она не разорвала карточку, почему на нее пялилась?

– Успокойся, делов-то, – сказал ей Дянкин.

И когда мы ее оттащили от Дянкина, она изловчилась, ударила его ногой. Потом она ничего объяснить не могла. Перед Дянкиным не извинилась. А у него стала раскалываться голова. Может быть, ее ногти и его головная боль не были связаны между собой, но мы увязали, мы увязали крепко. Мы, конечно, не колотили девочек, но эту решено было девочкой не считать.

Ни температуры у Марата, ни кашля – просто раскалывалась голова, его тошнило от этой боли, а доктор ему не верила, говорила, что он симулянт. И только когда он упал без сознания, завуч вызвала «скорую помощь». В тот же день ему долбили череп за ухом, потому что у него был менингит. Еще денек – и лежать бы ему в узком ящике, обитом саржей.

В наш класс он уже не пришел. После больницы его определили в школу взрослых, где вероятность случайных толчков и ударов портфелем по голове несколько меньшая, к тому же взрослые станут его беречь – так думали доктора, и, в общем, правильно думали. Марат был доволен. Его действительно берегли, списывали у него домашние задания, угощали яблоками, соевыми батончиками и карамелью.

Марат был счастлив тем, что ему не грозили ежедневные встречи с той девочкой, которую мы все уже девочкой не считали, но только кобылой.

Экзерсисы на тему «Дянкин Марат – больной» я проигрываю, чтобы коснуться его упорного пороссячьего идиотизма – я тогда так считал. На свалке Марат набирал, кроме меди и свинца, большое количество ненужных вещей: тумблеры, верньеры, разноцветные выпуклые

стеклышки, эбонитовые платы, конденсаторы и фиговины неизвестного нам назначения – все это в изобилии поставлял на свалку завод «Коминтерн».

Никто это дерьмо не брал, в «Утильсырье» за него не платили – лишь кучка тихопомешанных радиолюбителей видела в них скрытый от здорового населения смысл. Но Дянкин – он видел миры иные, иное небо, иные грозы.

Радиолюбители сооружали радиоговорители. Дянкиновы творения были таинственны и непонятны самому Дянкину. Они мигали, попискивали, тряслись, из них вдруг вылезали какие-то рычаги и тут же прятались. Они были безупречны с точки зрения бесполезности.

Я говорил Дянкину:

– Собрал бы хоть детекторный приемник – стыдно же, как ребенок. Хочешь схему дам? Дянкин смотрел на меня с пониманием и прощением.

Он уходил от наших коллективных забот, свободных от сомнений, в пространство кривых зеркал, где уродство оборачивается гармонией. Что-то было в Дянкиновых творениях жуткое. Я рассказал о них брату Коле.

– Поведи меня посмотреть, – попросил он.

Дянкин разрешил, и мы с Колей пришли.

Коля смотрел долго, так смотрят на скульптуру или живопись.

– Убери эти платы, эти рычаги, надо конструкцию раскрыть и развивать ее в глубину, как бы в бесконечность. У тебя тема «Случай»? «Толчок»? Это, черт возьми, трудно. Всякое шевеление превращает скульптуру в игрушку. Попробуй статику. Скажем, «Предслучай». Все напряженно, все ждет.

– Я попробую, – сказал Дянкин. – Только ты да батя и поняли, что к моим этим штукам... вещам надо относиться с точки зрения искусства, а не техники. А этот твой брат кретин...

– Но-но, – сказал я. – С точки зрения... – Я на Дянкина обиделся. Мог бы мне намекнуть. Что я, колун? Я бы понял.

На самом деле я бы даже и не захотел понять. Только Колин авторитет предостерег меня от ухмылок и снисходительной трескотни. Впрочем, «обиделся» – сильное слово, скорее я с досадой осознал вдруг, что Дянкин меня обошел на каком-то повороте и теперь он взрослый и умный, а я пузырь – брат Коля все же успел мне вложить, что существительное «ум» происходит от глагола «уметь». От меня красота, если она все же была, Дянкиновых конструкций ускользала, я воспринимал лишь реальные связи: пайку, заклепки, болты – но не ассоциации и уж тем более не функции частей во взаимодействии с пространством и светом.

Коля сказал мне, что Дянкин своим умом допер дотуда, докуда еще не просунулся авангардный художник Татлин Владимир Евграфович.

Татлина я понимал как пропагандиста-романтика, предтечу грядущего утра – мы тогда умели так говорить и так думать. В Дянкиновых хреновинах был абсолют и никакой зари – только бескрайность ночи с золотыми пуговицами застегнутого наглухо мундира. Что ты придумал, Дянкин?

После известия о смерти матери я занавесил зеркало простыней – мне все время казалось, что в зеркале я увижу ее, и Колю, и почему-то Дянкина. Я оставался после работы в гараже, писал призывы и указатели, ошивался у Музы, слушал ее рояль.

Но однажды ко мне пришла мать Марата.

– Я который раз к тебе прихожу, – сказала она. – Все тебя дома нет. Слышала, что ты остался один. Горе, горе... – И вдруг спросила: – Зачем тебе одному шифоньер? Все твое барахлишко можно на гвоздик повесить. Я у тебя этот шифоньер куплю.

– Сколько дадите? – спросил я непроизвольно и почувствовал, что щеки мои горят.

– Килограмм сахара.

– Вы этот сахар поберегите.

Глаза у нее блестели, она гладила шифоньер рукой, обычный довоенный шифоньер, фанерованный дубовым шпоном, правда хороший, необшарпанный.

– Да берите его бесплатно.

Она кивнула, стала вынимать из шифоньера вещи, складывать их на мамину кровать и на стол. А когда освободила и вытерла шифоньер внутри тряпкой, то вынула из своей сумки и поставила на стол два пакета сахара.

– Ты его развинти. Вечером я с подружкой приду. И унесем. Мурик свинтит.

Шифоньер разбирался легко. Когда его унесли, на обоях осталось пятно, похожее на арку, и, как мне показалось, появилось пятно на моей совести. Не из-за сахара. Если у Маратовой матери есть сахар на шифоньер, наверное, Марат не голодный.

Ночью я не мог уснуть, мне казалось, мама хочет открыть шифоньер, а его нету. Она скребет стену...

Утром я поехал на Международный проспект, чтобы прорваться к Пулковским высотам. Меня остановили у рогаток, посмотрели документы и без объяснений прогнали.

Я работал. Я хорошо работал. И слесарем, и жестянщиком, и в моторе уже разбирался. Я вникал.

Хлеба теперь дают вместо четырехсот граммов триста. Вечером, после десяти, ходить без пропуска нельзя. От пустого места, где стоял шифоньер, деться некуда. Толкаюсь у Музы. У нее хорошая мать. Курит махорку, скручивает сигарки тонкими пальцами. Сколько я помню свою маму, она тоже всегда курила. Наверное, закурила на заводе «Севкабель», когда стала ударницей. Она быстро стала ударницей...

Дянкин сахар я не трогал. Понес Дянкину. Дянкина мать была исполнена благородства.

– Никаких разговоров, – сказала она, – сахар твой.

Шифоньер стоял в большой комнате, среди других чужих вещей.

Марат повинтил у виска пальцем и прошептал:

– Свихнулась. И мне никуда от нее не уйти.

– От кого? – спросил я.

Дянкин не ответил.

После войны, едва я вернулся в Ленинград, ко мне пришла одна из Дянкиновых сестер. Сказала:

– Мать хочет тебя видеть. Умирает она. У нее рак груди. Операцию сделали, но метастазы проникли в легкие, что ли. Ты ее успокой.

– Чем?

– Сам поймешь.

Она лежала в большой комнате на широкой кровати, тоже купленной за харчи. Она схватила мою руку.

– Мурик меня простит, как ты думаешь? Он должен меня простить. Я хотела как лучше.

Говорят, глаза у людей, медленно умирающих, обесцвечиваются. У нее, как и у ее сына, глаза были синие и влажные.

– Простит, – сказал я. – Вы же хотели как лучше.

Она была очень худая, блокада не кончилась для нее. Оттолкнув мою руку, она закричала визгливым тихим криком:

– Я негодяйка! Нужно было Мурика вывезти. Он был один у меня родной. Эти девки меня и за нуль не считают. Я им не мать. Шлюхи они. Мурику я была мать. Ты приходи. Я на тебя буду смотреть. Я умереть хочу. К Мурику хочу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.